

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

«Власть—собственность» в современной России: происхождение и перспективы мутации

Н.М. ПЛИСКЕВИЧ

В статье рассматриваются проблемы социально экономического развития современной России как варианта модели «власти—собственности». Анализируются возможности мутации системы «власти—собственности» в частнособственническо-рыночную систему и обратного преобразования. На основе анализа истории создания советской хозяйственной модели выделяются ее специфические черты как особой формы системы «власти—собственности», образовавшейся не только на специфической социокультурной базе, но и в результате мутации частнособственническо-рыночной системы. Показана роль фактора распределения и потребления в общей структуре советской хозяйственной модели, оказывающего существенное воздействие и на современное состояние дел. Преобразования последнего десятилетия трактуются как попытка мутации системы «власти—собственности», в результате которой права верховного собственника у партии-государства были перехвачены бюрократией. И так как новая конструкция не может быть устойчивой, ибо бюрократия — не монолит, а разделена на борющиеся между собой кланы, то современная ситуация в России носит промежуточный характер.

Неудовлетворенность результатами пятнадцатилетия российских реформ повсеместна. Она присуща не только противникам реформ, для которых такое отношение к переменам вполне естественно, но и представителям самых разных научных направлений и школ, а также политикам реформаторского крыла. При этом мнения последних о причинах неудач существенно различаются. Одни заявляют, что столь необходимые стране либеральные реформы так и не начинались, будучи заблокированы своекорыстной бюрократией, хотя Россия ничем не отличается от других стран догоняющего развития и пробуксовывание реформ лишь тормозит наш закономерный выход на траекторию прогрессивных преобразований. Другие ищут первопричины неудач в социокультурных особенностях российского бытия.

Весьма широкий круг ученых все чаще пишет о том, что Россия в большей степени принадлежит цивилизации восточного типа, что сами отношения собственности у нас привычно вписываются в систему отношений «власть—собственность» с безраздельным господством государства в экономике и всей

общественной жизни, а потому либеральное реформирование обречено на провал. Так, О. Шкаратан характеризует присущий нашей стране тип социально-экономической и политической системы как этакратизм. С его точки зрения, этакратизм — «не цепь деформаций и отклонений от некоей образцовой модели капитализма и социализма, а самостоятельная ступень и в то же время параллельная ветвь исторического развития современного индустриального общества со своими собственными законами функционирования и развития. Этакратизм можно рассматривать и как самостоятельную социально-экономическую систему в цивилизационной дихотомии «Запад — Восток», и как одну из форм модернизации (индустриализации) стран неевропейского культурного идеала» [Шкаратан 2004, с. 88]¹. Причем основной чертой этакратизма, по мнению ученого, является «обособление собственности как функции власти, доминирование отношений типа «власть—собственность»» [Там же].

Такая трактовка специфики отечественного развития вызывает возражение у ряда исследователей. Например, Ф. Шелов-Коведяв, признавая важность воздействия этнокультурных особенностей на процесс развития стран в общем русле глобализирующейся экономики, тем не менее против подобной трактовки объяснения особенностей российского цивилизационного развития, усматривая в нем проявление «евразийства». В противовес такой трактовке он приводит примеры, свидетельствующие, что «связка “власть—собственность”... не является исключительно азиатской характеристикой. Это, похоже, одна из немногих универсальных стадий развития человечества» [Шелов-Коведяв 2004, с. 239]. С его точки зрения, ничего экстраординарного не представляют ни исторически обусловленное отставание России, ни ее стремление к централизации и усилению роли государства. Такие этапы проходили и западноевропейские страны. Был в России и период бурного политического и экономического развития, правда, грубо прерванный большевиками [Там же, с. 240—241].

Это мнение подтверждает и проведенный С. Цирелем анализ литературы, посвященной связке «власть—собственность». Он, в частности, отметил, что сам термин «власть—собственность» впервые был предложен А. Гуревичем для характеристики европейского Средневековья и лишь затем Л. Васильев применил его при описании социально-экономической и социально-политической системы Древнего Востока, которая в марксистской литературе получила название «азиатский способ производства» [Цирель 2006].

Если принять эту линию рассуждений, то Россия после крушения советской системы должна двигаться к признанным западным принципам социально-экономического развития. Однако события последних лет все более и более свидетельствуют о повороте вспять. Например, Р. Нуреев и А. Рунов трактуют процессы, протекавшие в последние годы в сфере отношений собственности как эволюцию от централизации при советской системе («власть—собственность») через упадок (номенклатурная приватизация 1987—1992 гг.) и разложение (массовая приватизация 1992—1996 гг.) к институционализации новой «власти—собственности» [Нуреев, Рунов 2005].

¹ Ср., например, позицию В. Пастухова, также рассматривающего развитие России как параллельную западной ветвь цивилизационного развития, а потому оценивающего и современное состояние страны в терминах не переходного общества в рамках догоняющего развития, а общества промежуточного [Пастухов 2006].

Эти процессы новой институционализации «власти—собственности» в последние годы обрели особо отчетливый характер. Они проявляются не только в таких широко известных фактах, как дело «Юкоса», выкуп государством «Сибнефти», но и в регулярно повторяющихся выборочных «наездах» на различные компании с использованием налоговых органов (причем происходит это и с крупными компаниями общероссийского значения, преследование которых попадает в поле зрения СМИ, и со средними и мелкими фирмами, по тем или иным причинам заинтересовавших чиновников нижних ступеней «властной вертикали» или региональной власти). Да и вся выстроенная в последние годы система экономических отношений, включающая в качестве необходимых элементов и обязательное наличие «крыши» того или иного уровня (желательно в правоохранительных структурах), и огромный теневой оборот, и коррупционные сети, и многое другое, свидетельствует о том, что эта система весьма далека от успешной работы не только в западных, но и в восточных экономиках рыночных образцов. Поэтому представляется важным разобраться, действительно ли отечественная социально-экономическая культура вообще и отношения собственности в частности не способны воспринимать институты и принципы, присущие развитой рыночной экономике, основанной на частной собственности. Важно также уяснить, какова природа тех отношений «власти—собственности», которые сложились в советской хозяйственной модели и которые в тех или иных модификациях пытаются сегодня воспроизвести, как соотносятся они с той системой, которая описывается как «азиатский способ производства», или восточный вариант отношений «власти—собственности».

Азиатский способ производства и советская хозяйственная система

Влияние государства на экономическую жизнь страны в Российской империи было, как известно, гораздо более значительным нежели в западноевропейских государствах. Однако переход к советской системе хозяйствования ознаменовал столь резкий качественный скачок в этом влиянии, что позволил ученым проводить четкие параллели между нею и принципами хозяйствования восточных деспотий, так называемым азиатским способом производства. Например, по мнению В. Кудрова, нечто подобное советской хозяйственной системе, возможно, «имело место в древности человечества, в странах Востока в условиях особой азиатской цивилизации и тоталитарного закрепощения единовластным диктатором» [Кудров 2003, с. 302].

Действительно, в обоих случаях могут быть применимы, например, такие определения Л. Васильева: «Власть (владение) рождает понятие и представление о собственности, собственность рождается как функция владения и власти. Перед нами феномен власти—собственности. Власть—собственность — это альтернатива европейской античной, феодальной и буржуазной частной собственности в неевропейских структурах» [Васильев 1993а, с. 69]. По мнению Васильева, собственность как приложение к власти — обычное явление в традиционно-восточной структуре и «генетически и структурно наша страна на протяжении большей части ее существования была все же весьма близкой традиционному Востоку» [Васильев 1993б, с. 167].

Ю. Латов характеризует власть—собственность в целом и в России в частности как порядок, когда «политическое лидерство дает неотъемлемое право распоряжаться собственностью, а собственность органически подразумевает наличие политического авторитета». Благополучие представителей господствующего класса гораздо сильнее зависит «от их места в иерархии государственной власти, от той должности, которую им удалось получить, продвигаясь по служебной лестнице, чем от унаследованного и приобретенного имущества» [Латов 2004, с. 117]. В тех же словах пишет о хозяйственной системе Древнего Востока и Нуреев [Нуреев 1993, с. 75], отмечая, что «в обществе, в котором не существовало надежной гарантии частной собственности, чиновники занимали особое место. Представители государственной власти имели прямые и косвенные доходы от выполняемых ими должностных функций» [Там же, с. 76] и это неизбежно вело к коррупции и злоупотреблениям.

Более того, Нуреев подчеркивает, что «в основе господства класса эксплуататоров на Древнем Востоке лежала не только монополизация частной собственности на землю, но и монополия на накопленный прибавочный труд, материализуемый в ирригационных сооружениях, а также монополия на передаваемую из поколения в поколение информацию». Он отмечает, что в условиях азиатского способа производства «государство аккумулирует не только весь прибавочный продукт, но и часть необходимого продукта», причем часть последнего может быть возвращена подданным в периоды труда на общественных работах. Аналогичную систему деления продукта, по мнению Нуреева, можно найти, перенесясь «в современный тип командной экономики, так называемый государственно-бюрократический социализм» [Там же, с. 70].

Все эти и многие другие характеристики, описывающие ситуацию с взаимопроникновением властных и собственнических функций и полномочий, присущих так называемому азиатскому способу производства, могут быть применены и применяются при анализе советской хозяйственной модели. И в ней, как известно, власть, сконцентрированная в руках партии-государства, обладала в экономике страны поистине безграничными полномочиями. Монополизировав источники существования подавляющего большинства населения, она перераспределяла их в соответствии с положением каждого в выстроенной ею властно-идеологической иерархии, охватывающей не только так называемую номенклатуру всех уровней, но и не входящих в нее граждан.

Думается, однако, что при анализе сложившейся ситуации и особенно в поисках выхода из нее нельзя ограничиваться этими и сходными аналогиями. Важными представляются рассуждения Васильева о взаимоотношениях патерналистской традиционалистской модели и модели либеральной. Он пишет: «...во всей многотысячелетней первобытной истории человечества соперничали лишь две генеральные социополитические и socioэкономические структуры — обычная командно-административная, которую я склонен считать своего рода нормой, и необычная, основанная на свободе личности, индивида, гражданина, которая возникла в ходе чего-то вроде социальной мутации в средиземноморской античности и после этого дала начало аномальной (по сравнению с древней нормой) структуре — рыночно-частнособственнической». Считая первую тенденцию нормой, а вторую — аномалией, автор полагает, что «первая логично выросла из первобытности, соответствуя ей всеми своими параметрами, тогда

как для возникновения второй нужно было уникальное стечение благоприятных обстоятельств, что, собственно, и дает основание видеть в этом процессе не столько революцию... сколько мутацию, т. е. нечто непредсказуемое в том смысле, что из параметров предшествующей структуры новая... сама по себе возникнуть никак не могла» [Васильев 1993б, с. 146].

Но с течением времени, продолжает Васильев, возникшая в ходе мутации аномальная структура «превратилась в новую норму», которая вытеснила старую. Однако в этом процессе бывают и рецидивы, о чем свидетельствует история XX в. «с ее кровавыми попытками возродить примат старой нормы в новой ее, марксистской, тоталитарно-социалистической модификации» [Там же].

Кроме того, при внимательном анализе оказывается, что эти две, по выражению Васильева, «генеральные социополитические и социоэкономические линии» все же не выступали в абсолютно чистом виде. Даже в условиях восточных деспотий или же в сталинский период расцвета командно-административной системы в мелких портах казалось бы прочного монолита находилось место для частной экономической жизни. Можно, например, вспомнить и восточных купцов, которые при всей зависимости от правителя своей страны все же обладали определенной экономической самостоятельностью. И пусть рост доли рыночного товарообмена, равно как и ослабление центральной власти в пользу власти местных «царьков» ни в коей мере не означали «создания благоприятных условий для частного сектора», не способствовали «расцвету частной экономики, скорее напротив — богатые собственники подвергались экспроприации в первую очередь» [Там же, с. 81]. Однако именно наличие в структуре ткани такого общества подобных элементов при изменении совокупности социальных, политических и экономических условий создавало предпосылки для мутации в сторону частнособственнической системы².

Очевидно, анализ условий, при которых начинаются мутации одной системы в другую, требует специального рассмотрения. Здесь же я ограничусь предположением, что основным толчком к складыванию ситуации, когда мутация становится возможной, а иногда и неизбежной, могут служить изменения в условиях создания и присвоения как прибавочного, так и необходимого продукта. Модель «власти—собственности» получила широкое развитие в тех зонах, где прежде всего по природным условиям на единицу вложения труда получался наибольший при том развитии технологий выход конечного продукта. Этот продукт носил преимущественно рентный характер. Кроме того, деспотическая власть, как отмечал Нуреев, имела возможность присваивать и часть продукта необходимого. Неважно, на какие цели шел этот продукт — на строительство пирамид или освоение космоса. Важно, что для успешного функционирования данной модели необходима *устойчивость значительных доходов рентного типа*, с одной стороны, и *возможность основанной на страхе сверхэксплуатации основной массы формально свободного населения* — с другой. И античная мутация господствовавшей первоначально системы «власти—собственности» была обусловлена как раз

² О. Бессонова, предложившая трактовать присущую России хозяйственную систему как раздаточную в противовес рыночной и частнособственнической, также признает существование как в раздаточной, так и в рыночной экономике форм — антиподов господствующей структуры. Однако, с ее точки зрения, невозможна мутация одной формы в другую, связанная с коренной сменой структуры [Бессонова 1999].

более суровыми по сравнению с соседскими условиями жизни на Балканском полуострове, где почва была гораздо менее плодородной, а потому существенно ранее большее развитие стали получать ремесло и торговля, предполагающие большую свободу занимающихся ими людей.

И устойчивость советской системы также покоилась, с одной стороны, на доходах от природной ренты, а с другой — на связанных с большевистским террором возможностях присвоения значительной части необходимого труда. Именно тогда, когда началось размытие этих факторов, сначала в связи с невозможностью поддержания необходимого для сверхэксплуатации уровня террора, а затем и в связи с резким падением доходов от природной ренты, обусловленным падением мировых цен на нефть, тут сложились условия для разложения советской системы «власти—собственности»³. Но такие условия могли сложиться в советской системе, стремившейся подчинить себе все и вся, именно потому, что в ней сохранились пусть и ничтожные легальные лакуны (например, разрешенное мелкое ремесленное производство или личные подсобные хозяйства), а также теневые хозяйственные связи, которые существовали и в сталинские времена, а затем начали быстро развиваться в условиях застоя и разложения системы. В то же время и в современной западной экономике также без труда можно отыскать элементы, требующие применения административных принципов управления. А объективные процессы концентрации производства, выливающиеся в создание гигантских транснациональных корпораций, если их не ограничивать жесткими рамками закона, вполне способны создать серьезные проблемы для демократического общества.

Очевидно, именно такое сочетание и тех и других принципов открывает возможности для мутации одной системы в другую, и при отнесении конкретного общества к той или иной структуре важна мера, в которой там наличествуют элементы этих структур⁴. Подавляющее господство традиционалистских либо

³ Забегая вперед, отмечу, что «переходность» и незавершенность этих процессов, продолжающаяся до сих пор, нередко связывается как раз с тем, что до сих пор отечественной элите хватает доходов от природной ренты. Так, В. Тамбовцев отмечает, что «трудно избавиться от ощущения, что в основе нежелания *тех, кто это может*, изменить действующую институциональную структуру российского капитализма, лежит богатство России — обилие на ее территории первичных (природных) ресурсов, доходов от продажи которых (пока) вполне хватает для их нормального существования... как только «их» доходы от продажи первичных ресурсов перестанут покрывать «их» расходы, «они» неизбежно будут вынуждены менять правила, которые не дают остальным гражданам страны эффективно использовать доступные им ресурсы» [Тамбовцев 1999, с. 200—201]. Отмечу, что это было сказано в начале 1999 г., когда цена на нефть была существенно ниже 20 долл. за баррель.

⁴ Напомню, что категория «мера» является важнейшей при трактовке Ахиезером российского общества как общества промежуточной цивилизации. С его точки зрения в России, как и в любом другом обществе, имеются и традиционалистские, и либеральные тенденции. Но если, например, в западных обществах явно господствуют либеральные тенденции, а традиционалистские настроения носят более или менее маргинальный характер, в России на протяжении веков при господстве традиционализма в «народной почве» либерализм растворен в узкой, но наиболее активной прослойке наиболее образованных высших слоев. Отсюда — острое противоречие двух тенденций, рождающее положение «промежуточности» [Ахиезер 1997—1998].

либеральных элементов и дает возможность говорить о командно-административной или либерально-рыночной организации общественного производства.

Таким образом, согласно Васильеву, между двумя структурами — традиционалистской и либеральной — нет непреодолимого барьера. Одна структура способна мутировать, превращаясь в другую, в новых условиях более прогрессивную и жизнеспособную. В то же время и эта, казалось бы более жизнеспособная структура в свою очередь при определенных условиях также оказывается способной подвергнуться обратной мутации, примером чему является советская хозяйственная система.

Думается, однако, что при этом, признавая сходство данной системы и ее восточного прототипа, нельзя забывать и о том, что советская модель «власти—собственности» появилась в современном обществе, что складывалась она совсем не из тех «кирпичиков», из которых были создавались конструкции древних восточных деспотий, что в ее основании лежали конструкции, привнесенные из рыночно-либеральной модели. Причем само перерождение этих конструкций было как закономерным результатом свободного рыночного развития, так и следствием определенных политических процессов, связанных и с внутриполитическим кризисом в Российской империи, и со всей совокупностью проблем страны, вовлеченной в мировую войну, и с той ролью, которую играла в начале XX в. марксистская идеология не только в России, но и на всем европейском пространстве.

О таком перерождении отношений собственности можно говорить потому, что при всей значительности роли государства в экономике Российской империи государственная собственность тут была все же лишь одним из видов собственности. Просто собственником ее было государство, а функционировала она в среде, предполагающей независимое сосуществование с ней других видов собственности, т. е. в частнособственнической среде. И вмешательство государства при всех господствовавших в стране социокультурных тенденциях, ориентированных на традиционализм и патернализм, все же было ограничено достаточно определенными рамками. «Даже несмотря на знаменитую российскую бюрократизацию, идущую от Петра I, экономика и частная воля чем дальше, тем все в большей степени двигали жизнью Российской империи. Именно поэтому управленческий аппарат мог оставаться с точки зрения привычных нам мерок микроскопическим, а затраты на управление в Российской империи, вплоть до ее гибели, — на удивление низкими. С учетом исполинских размеров страны и малочисленности администрации эффективность управления просто поражает» [Горянин 2005, с. 98]. Для сравнения: в современной России на 100 человек приходится 1 чиновник! («Известия». 12 апреля 2006).

Становление командно-административной системы в СССР

В поисках причин того, почему модернизация в России в XX в. пошла по советскому варианту, обычно обращаются к анализу именно культурной составляющей. Отмечается, что попытки модернизации, опирающиеся на западноевропейские образцы, и особенно реформы, проводившиеся правительством П. Столыпина,

вошли в противоречие с глубинными социокультурными основаниями народной жизни, что и спровоцировало революционный взрыв 1917 г. Согласно другой точке зрения, если бы России удалось избежать катастрофы Первой мировой войны, модернизация, проведенная по западному образцу, вывела бы страну в ряды мировых лидеров. Представляется, однако, что отечественное развитие после 1917 г. несет в себе ярко выраженные черты не только отечественной традиционалистской социокультурной модели, но и явные признаки модели западноевропейской. Ибо создатели советского государства, и прежде всего В. Ленин, ориентировались в своих теоретических построениях именно на нее. Абсолютизируя и доводя до логического конца ряд присущих ей черт, они сконструировали свою социально-экономическую и идеолого-политическую систему.

Речь идет прежде всего о такой получившей к рубежу XIX—XX вв. полное развитие черте капиталистической формации, как монополия, вырастающая из свободной конкуренции и качественно ее преобразующая. Этот процесс, как отмечал еще К. Маркс, «совершается игрой имманентных законов самого капиталистического производства, путем централизации капиталов» [Маркс, Энгельс 1960, с. 772]. Как известно, развитые страны Запада вовремя распознали эту опасность и, введя жесткое и действенное антимонопольное законодательство, смогли избежать ее. Во многом успеху борьбы с монополизмом способствовали и развитые в этих странах демократические принципы, на которые покушалась монополизация не только экономической, но и политической жизни. Россия же не обладала такого рода защитой.

Между тем развитие стран Запада именно по пути наращивания монополизма в начале XX в. было вполне реально. Его анализ был дан, в частности, еще в 1910 г. в одном из наиболее известных произведений западноевропейской социалистической мысли — «Финансовом капитале» Р. Гильфердинга. Правда, тенденции, связанные с этим путем развития, исследовались с позиций «преодоления» капитализма, перехода его в новое, социалистическое, качество. Согласно его концепции, «экономическая власть знаменует в то же время власть политическую. Господство над экономикой дает в то же время господство над политическими ресурсами государственной власти. Чем выше концентрация в экономической сфере, тем более неограниченно овладение государством. Это строгое сложение всех сил государства является величайшим развитием его сил, государство становится непреодолимым орудием охраны экономического господства, а потому и завоевание политической власти становится предпосылкой экономического освобождения» [Гильфердинг 1959, с. 478].

В том, в чем социал-демократы начала XX в. видели путь освобождения трудящихся, на самом деле таилась опасность мутации системы, основанной на частной собственности и демократических принципах, неразрывно связанных с последней. Тут действительно была возможность качественного скачка, отмеченного еще в первом томе «Капитала» «отрицания отрицания», но отнюдь не освобождения личности, а всеобщего подчинения обобществленным и централизованным в рамках государства (общества) экономическим и политическим ресурсам. Причем, как показали дальнейшие события, качественный скачок был связан с переносом акцента концентрации ресурсов с экономической на политическую сферу и с абсолютизацией господства последней над экономикой. И, очевидно, можно утверждать, что опасность обратной мутации частнособ-

твенническо-рыночной системы в систему «власти—собственности» кроется во внутренних закономерностях развития первой. История развитых стран конца XIX—начала XX в. свидетельствует о том, что опасность эта была весьма реальна. И лишь развитой политической системе этих стран с укоренившимися демократическими принципами мы обязаны тому, что данная мутация не состоялась. Вместе с тем, как представляется, о самой возможности такой мутации, об искушении ею для сильных мира сего не следует забывать и сегодня. Сами процессы глобализации и связанные с ними обостряющиеся противоречия, прежде всего Севера и Юга, подталкивают к поиску наиболее простых решений, связанных с ограничением демократических принципов и навязыванием более сильными нужных им решений своим партнерам.

Новый шаг в концентрации экономических и политических ресурсов, обусловленный потребностями вступивших в Первую мировую войну стран, привел к формированию государственно-монополистического капитализма, получившего наиболее четкое воплощение в Германии. Этот опыт и стал образцовым для В. Ленина, для которого государственно-монополистический капитализм «есть полнейшая *материальная* подготовка социализма, есть *преддверие* его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом, *никаких промежуточных ступеней нет*» [Ленин т. 34, с. 193]. Согласно его программе, изложенной в ряде статей осени 1917 г., для достижения своих целей большевики вполне могли использовать институты, сложившиеся в условиях государственно-монополистического капитализма, надо было лишь «отсечь то, что *капиталистически уродует* этот превосходный аппарат, сделать его *еще крупнее*, еще демократичнее, еще всеобъемлюще» [Там же, с. 307]. (Это надо понимать, разумеется, с поправкой на специфическое ленинское понимание демократии, сводившееся к диктатуре его собственной, «правильной», партии и подавлению всякого инакомыслия, в том числе и внутрипартийного.) В результате рождается одно из определений социализма: «Социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу народа и постольку *переставшая* быть капиталистической монополией» [Там же, с. 192].

Таким образом, сама идея «инструментального» строительства нового общества, идущая не от нужд человека и его потребностей, но от крайностей развития определенных тенденций частнособственническо-рыночной системы, чреватых ее мутацией в свою противоположность, не могла не привести к построению жестко регламентированной командно-административной системы. Тем более, что за образец была взята конструкция, органически связанная с обслуживанием потребностей военного времени, т. е. с ситуацией, когда нация напрягает все силы для решения одной задачи — победы над врагом.

В таких условиях на задний план отступают проблемы качественного удовлетворения разнообразных потребностей населения, причем с наименьшими издержками, т. е. та самая «польза для народа», во имя которой и совершалась социальная революция. Причем разрешение этих проблем как раз имманентно многообразию и конкурентной атмосфере, присущим частнособственническо-рыночной системе. Вырождение ее в командно-административную приводит к формированию мобилизационной экономики, способной сконцентрировать ресурсы страны для решения одной или нескольких глобальных задач, но

пренебрегающей потребностями большинства населения как в данном случае несущественными. Показательно, что Ленин признавал в качестве «социалистического» лишь огосударствление собственности, отрицая, например, групповую собственность работников на свои предприятия, ибо в таком случае сохранялась бы экономическая база для их независимости от центральной власти. Так, в 1918 г. в статье «О демократизме и социалистическом характере Советской власти» он писал: «...величайшим искажением основных начал Советской власти и полным отказом от социализма является всякое, прямое или косвенное, узаконение собственности рабочих отдельной фабрики или отдельной профессии на их особое производство, или их права ослаблять или тормозить распоряжения общегосударственной власти...» [Ленин, т. 36, с. 481].

Перенос акцента в процессах централизации и концентрации производства и власти с экономических аспектов на политические обусловил у нас в стране качественный скачок в развитии системы западного образца. К сожалению, это недостаточно учитывают, когда говорят, например, что «советская социалистическая система как раз и представляла собой реализацию идеи единой государственной монополии» [Ясин 2002, с. 34].

Разумеется, в том, что такой качественный поворот вообще стал возможен, огромную роль сыграли социокультурные факторы, прежде всего сила в стране традиционалистских компонентов. Но важно, что вновь созданная система наряду с этими компонентами содержала мощный заряд полученных и от западной модели импульсов. В результате XX в. для России, как хорошо показал А. Вишневский, прошел под знаком инструментальной модернизации, позволившей провести индустриализацию страны, качественно преобразовать ее население, превратив его из аграрного и сельского в промышленное и городское. Однако модернизация, проведенная при опоре на социокультурный традиционализм, обусловила специфический путь развития, предполагающий значительные внутренние противоречия, которые в конечном итоге и привели к крушению, казалось бы, незыблемой системы [Вишневский 1998].

Таким образом, качественный скачок, связанный с переходом приоритетов в отношениях экономики и политики к последней, вызвал мутацию системы, основанной на отношениях частной собственности, и переход к конструкции «власть—собственность». Здесь возникает вопрос: какова специфика новой собственности, все-таки прошедшей через этап частнокапиталистических отношений, кто в этой конструкции является собственником. И ответ на него, как представляется, отнюдь не такой простой.

Советская собственность: специфика конструкции

Согласно Конституции СССР 1977 г. практически вся собственность в стране (за исключением так называемой кооперативно-колхозной, но также не являвшейся независимой) определялась как «общенародная (государственная)». Как известно, в начале «перестройки» это определение было подвергнуто сомнению, точнее — вопросы вызвало утверждение об «общенародности» собственности. Тогда появились работы о том, что понятие «отчуждение» свойственно не только капитализму, но и у нас трудящиеся также отчуждены от собственности на

средства производства, что собственность эта лишь государственная, а отнюдь не общенародная [Кузьминов 1988].

Как государственную трактует советскую собственность предприятий и В. Полтерович. Правда, с его точки зрения, в связи с начавшимся в рамках косыгинских реформ формированием там фондов материального стимулирования и политикой ориентации на повышение роли материальной заинтересованности работников, произошло смещение акцентов в отношении собственности. И к началу 1990-х годов российские предприятия фактически стали «собственностью своих работников и стремятся к увеличению их благосостояния» [Полтерович 1993, с. 543]. Таким образом, подобная трактовка вносит лишь новые вопросы в тему взаимоотношений государства и трудовых коллективов, но отрицает декларируемую «общенародность» социалистической собственности.

И сегодня авторы коллективной монографии «Экономические субъекты постсоветской России», руководимые Нуреевым, также дают отрицательный ответ на вопрос, мог ли быть субъектом общенародной (государственной) собственности весь народ: «...мог ли он выступать в роли residual claimant, т. е. предъявлять права на остаточную собственность? Нет, ведь народ фактически был отстранен от голосования и не имел отношения к реальному выбору» [Экономические... 2003, с. 39]. Отрицание за народом права субъектности на якобы принадлежащую ему собственность подвело многих к мысли, что собственность эта оказывалась просто «ничьей». Отсюда — и варварское к ней отношение.

Тезис о «ничейности» этой собственности имеет многих сторонников, причем не только среди отечественных ученых. Например, профессор факультета экономики Университета Хьюстона П. Грегори согласен с утверждением, что «при советской власти “собственность принадлежала всем и никому”» [Грегори 1997, с. 25]. Е. Ясин в 1990 г. также придерживался такой позиции и повторил ее в 2002 г. [Ясин 2002, с. 50].

Версию о «ничейности» общенародной (государственной) собственности содержит и упомянутая монография «Экономические субъекты постсоветской России»: «... в советской экономике фактически не существовало верховного собственника, т. е. не было субъекта — носителя права конечного контроля и права на остаточный доход. В этом смысле “общенародность” собственности заключается в ее “ничейности”» [Экономические... 2003, с. 40]. К такому выводу авторы данного труда приходят, критически проанализировав и отвергнув предположение, выдвинутое еще М. Джиласом и М. Восленским о том, что верховным собственником в советской хозяйственной системе являлась номенклатура.

В знаменитой книге Восленского одна из частей имеет красноречивое название — «Социалистическая собственность — коллективная собственность номенклатуры». В этой собственности «доли не покупаются и не продаются. Они достаются с включением в класс номенклатуры, увеличивается или уменьшается в зависимости от положения в иерархической структуре, а изгнание из номенклатуры знаменует собой лишение изгнанного его доли. Ни в каком случае номенклатурщик не может получить на руки приходящейся на него доли капитала. Но он регулярно получает поддающуюся в каждом случае довольно точному подсчету сумму материальных благ, которую можно сопоставить с выплатой дивидендов в капиталистическом мире» [Восленский 1991, с. 177—178].

Оппоненты Восленского полагают, что «если внимательнее посмотреть на цели и приоритеты номенклатуры, ее возможности свободно распоряжаться объектами общенародной собственности, то оказывается, что этот “новый класс” правильнее было бы считать исполнителями с весьма специфической целевой функцией. Номенклатура не имела возможности напрямую подменить общенародные интересы своими собственными, и в этом крылось противоречие, ведущее к крайне неэффективному управлению собственностью» [Экономические... 2003, с. 39].

Серьезный анализ сущности общенародной (государственной) собственности содержится в монографии Я. Корнаи. Тем не менее в его суждениях, как мне представляется, есть некоторые противоречия и нестыковки, связанные с неточностью как в характеристике этой собственности, так и в определении того, кто же является ее владельцем. Рассматривая данную проблему, знаменитый венгерский экономист концентрирует внимание прежде всего на таких атрибутах собственника, как его право на остаточный доход от собственности, право ее отчуждения и право управления, и с этих позиций решает вопрос о том, кто же в социалистическом обществе обладает правами собственника.

Он констатирует, что «номинальным собственником государственной фирмы является государство в лице его центрального правительства. Согласно официальной идеологии данный сектор есть собственность “всего народа” или “всего общества”. Это отличает ее от других не частных форм собственности, например, от фирмы, принадлежащей региональной государственной структуре, или кооператива. Здесь собственником официально выступает лишь часть населения (жители соответствующего региона или члены кооператива)» [Корнаи 2000, с. 97—98].

Поиски обладателя права на остаточный доход Корнаи завершает следующим выводом: «Остаточный доход при данной форме собственности есть экономическая величина, произвольно устанавливаемая бюрократией. Но раз она установлена (в технологических терминах финансового управления), то поступает в централизованный доход государства, и в этом смысле собственником выступает “государственная казна”. Итак, если мы задаемся вопросом, кто контролирует государственный бюджет и кто устанавливает все экономические параметры (цены, зарплату, налоги и т. д.), которые... служат факторами, определяющими размер чистого дохода, то ответ на него будет очевиден: это право распоряжения принадлежит бюрократии. Таким образом, за безличным институтом “государственная казна” стоит группа лиц, находящихся у власти, и это ей принадлежат права собственности [на остаточный доход — Н. П.]» [Там же, с. 99].

Эти права собственности на остаточный доход, по Корнаи, «сконцентрированы в руках тех, кто оказывает наибольшее влияние на составление планов, определение государственных доходов и расходов, цен и зарплаты» [Там же, с. 100]. Причем личный доход наделенных такими правами лиц, с одной стороны, не был напрямую связан с доходами от управляемой ими собственности, но с другой — эти представители бюрократии не несли и личной ответственности за просчеты и убытки, которые понесли предприятия из-за некачественного руководства.

Что же касается такого права собственности, как возможность ее отчуждения, то в случае социалистической собственности «государственные фирмы не

являются объектом купли или продажи; они не могут быть переданы в аренду, переданы или получены в наследство. В классической социалистической системе правом их отчуждения не обладает никто, даже “государство” как номинальный собственник» [Там же].

В плане же управления собственностью Корнаи отдает все права бюрократии. При этом «деятельность государственной фирмы контролируется иерархически организованной внутри нее бюрократией, которая образует нижние уровни иерархии, охватывающей все общество» [Там же]. Причем им разделяются отряды бюрократии, осуществляющие непосредственное управление, от тех, кто занимается финансовыми делами государства, как обладающими правами на остаточный доход от собственности. «Только на самом верху эти две ветви бюрократии оказываются под общим руководством генерального секретаря партии, политического комитета и “правительства”» [Там же, с. 101].

Венгерский ученый делает вывод, что «выражение “общенародная собственность” — просто идеологическое клише», ибо «даже если руководящий слой бюрократии социалистической власти будет вести аскетический образ жизни, считать своей важнейшей задачей подъем материального уровня жизни населения и эффективно ее решать, отношения собственности применительно к государственной форме останутся бюрократическими...» [Там же]. В целом же при социализме «деперсонификация собственности достигает крайних форм. Какую государственную фирму ни возьми, не существует конкретного лица, семьи или небольшой группы партнеров, на которых можно было бы указать как на собственников. Поскольку никто не кладет в свой карман прибыль и не обязан из своего же кармана покрывать убытки, собственность в этом смысле не только деперсонифицирована, но и уничтожена. Государственная собственность принадлежит всем и никому» [Там же].

Таким образом, анализ Корнаи в итоге подводит нас к ситуации полной неопределенности. Собственность в условиях реального социализма трактуется и как государственная, и как бюрократическая, и как «ничья»... Однако такое положение вряд ли можно признать соответствующим реальности. Ведь собственность — субстанция весьма определенная и требует определенности в фиксации своего владельца. В противном случае затруднительна организация ее рационального использования (пусть даже эта рациональность не сводится к рациональности экономической). Между тем нельзя не признать, что, при всей очевидной ныне для многих неэффективности управления советской собственностью в экономическом смысле, советский период развития нашей страны стал периодом значительного модернизационного рывка.

В поисках реального собственника, думается, прежде всего стоит вспомнить о том, что качественный скачок при переходе от развития крайностей монополизации и концентрации производства, присущих частнособственническо-рыночной системе, к новой форме, означавшей мутацию в систему «власть—собственность», связан с изменениями в политической сфере. Этот качественный скачок, как уже было отмечено, связан со становлением в стране так называемой «диктатуры пролетариата», под лозунгом которой партия большевиков смогла «экспроприировать экспроприаторов», т. е. сконцентрировать в своих руках почти все средства производства. Для управления этой собственностью были использованы (с какой экономической эффективностью — другой вопрос) уже имевшиеся к

тому времени управленческие навыки государственного аппарата и крупных компаний периода государственно-монополистического капитализма военного времени. За эвфемизмом «диктатура пролетариата» с самого начала скрывалась реальная диктатура партии, захватившей власть в стране, т. е. партии большевиков — РКП(б), ВКП(б), КПСС. Эта партия, обретшая вид партии-государства, и стала *фактическим собственником всех производственных активов страны*.

Здесь можно предвидеть возражение, что объявленная в качестве верховного собственника партия-государство идентична предлагаемой в данном качестве бюрократии как некоей единой управленческой силе. Думается, однако, что между этими двумя кандидатами на роль верховного собственника имеется принципиальная разница. Признание бюрократии фактическим собственником общенародной (государственной) собственности в анализе ученых, придерживающихся данной трактовки, опирается на реальные права по распоряжению находящимся в ее ведении имуществом. Однако отличие простого управленца даже очень высокого уровня от собственника заключается прежде всего в том, что первый несет ответственность за свои действия перед вторым. В отношениях собственности советского типа ключевую роль играла именно партийная ответственность, она была тем стержнем, на который нанизывались другие отношения по управлению собственностью.

Думается, вообще тема ответственности при определении характера собственности и ее конкретного собственника неоправданно игнорируется. Это касается, как представляется, анализа не только советской системы собственности, но и вообще ситуаций, связанных с «размытостью» субъектов собственности, становящихся типичными по мере развития акционерных форм собственности, роста числа миноритарных акционеров и т. д. Ведь признание ответственности перед собственником не только менеджмента и рядовых работников, но и просто членов общества является свидетельством общественного признания легитимности собственности. В то же время не менее важна и социальная ответственность собственника перед обществом как гарантия социального спокойствия. Представляется, что с категорией ответственности связаны гораздо более многоаспектные отношения, чем обычно обсуждаемые проблемы социальной ответственности собственника как работодателя или производителя продукции либо услуг.

Фактическое признание советским обществом верховенства партийной ответственности — свидетельство легитимности в его глазах партии-государства как верховного собственника. Любой управленец, бюрократ, партийный чиновник даже наивысшего ранга нес ответственность перед партией-государством как некоей надличностной коллективной силой. И именно потеря партийного доверия означала крушение всей чиновничьей карьеры, изгнание из рядов тех, кто имел право распоряжаться собственностью. Как раз распад партии-государства с соответствующим размыванием партийной ответственности на рубеже 1980—1990-х годов ознаменовал качественные изменения в положении самой общенародной (государственной) собственности. Только в этот период, а совсем не раньше, она стала обретать статус «ничьей», ибо реальный ее собственник прекратил свое существование (другой вопрос — кто, как и когда смог перехватить его права).

Переход верховного управления собственностью к партии-государству и качественный скачок к утверждению «власти—собственности» означал смену

критериев эффективности в управлении экономикой вообще и отдельными производственными процессами в частности. На передний план здесь выходит официальная идеология. Этот факт не может не фиксироваться исследователями советской системы. Отмечает это и Корнаи, у которого мы читаем о том, что при социализме «власть и официальная идеология... неразделимы как тело и душа», что классическая социалистическая система «развилась и окрепла лишь там, где... официальная идеология социализма имела господствующее влияние» [Там же, с. 86—87]. Однако венгерский экономист, как представляется, несколько недооценивает роль идеологии в конструкции экономической системы советского типа. А ведь именно идеология стала ее краеугольным камнем, что ощутили руководители нашей страны в конце 1980-х годов, когда советская система начала стремительно распадаться. Наиболее ярко это прозвучало в выступлении Н. Рыжкова — председателя Совета Министров СССР — на IV съезде народных депутатов СССР: «Приоритет идеологии над экономикой — это не мелочь, не частность, не волюнтаризм, не глупость тех или иных руководителей. Это суть той модели, в которой мы жили. Это ее устой» [Четвертый... 1990, с. 24]. И именно в подрыве идеологических устоев Рыжков увидел основную причину той деформации советской экономики, которая к концу 1990 г. приобрела обвальный характер.

Важнейшую роль в установлении партией-государством контроля над собственностью стала ее монополия в кадровой политике. Назначения управленцев всех уровней были прерогативой партийных органов. Любое нарушение воли собственника — партии-государства и его конкретных представителей на разных уровнях партийной иерархии — строго каралось, начиная от выговора и до лишения партийного билета, а вместе с ним и руководящей должности. В «классические» времена советской хозяйственной системы речь могла идти и о лишении свободы и даже жизни. В результате в течение десятилетий в российскую деловую культуру был прочно укоренен лишь один тип ответственности управленца за результаты своей деятельности — партийная ответственность. Об экономической ответственности реально речь и не шла, ибо даже в самых вопиющих случаях хозяйственные просчеты можно было перекрыть соображениями политико-идеологической целесообразности. Да и в саму структуру издержек предприятий закладывались расходы, связанные с несением «партийных» нагрузок (например, включение в штат явно излишних работников, необходимых лишь для того, чтобы без ущерба для основного производства можно было бы нести такие повинности, как регулярные откомандирования сотрудников на сельскохозяйственные и иные работы, на овощные базы и т. д.).

Рассмотрение данной конструкции подводит к мысли о неточности Корнаи, который в фактах занятия некоторыми членами выборных партийных органов государственных должностей или руководящих постов в государственном секторе экономики усматривает то, что «здесь именно «государство» проникает в партию, а не только партия в «государство»» [Корнаи 2000, с. 64]. Ведь в данной ситуации для любого руководителя само занятие им того или иного поста было обусловлено прежде всего согласием на это партийного руководства, а участие в выборных партийных органах (райкомах, обкомах, даже ЦК КПСС) оказывалось лишь еще одним каналом вхождения в общепартийную сеть, тем дополнением к государственной должности, которое сразу переводило ее носителя в новое

качество, ибо, например, директор завода — член райкома (обкома или ЦК КПСС) обладал значительно большими возможностями, нежели его коллега, не занимавший партийных должностей. Это было иное качество именно с позиций партийной иерархии. Не случайно появление самого понятия «номенклатура» как списка должностей, для назначения на которые было необходимо согласие соответствующего партийного органа.

В организации управления собственностью партия-государство, перешедшая к системе «власти—собственности» через развитие в рамках частнособственническо-рыночной парадигмы, использовала и достижения последней, точнее — системы организации управления собственностью в рамках акционерных обществ. Это было тем более логично, что в современном мире «иерархическая структура государственного аппарата строится по тем же принципам, что и структура крупных корпораций» [Нуреев 2005, с. 356].

При более пристальном рассмотрении становится очевидным, что структура управления советской экономикой как своего рода единой гигантской корпорацией (чем, собственно, и был «единый народнохозяйственный комплекс» страны) весьма близка к одному из типов корпоративного управления акционерным обществом, причем в этой структуре явно проступает роль истинного собственника — партии-государства. Этот тип управления присущ германской модели, в отличие от американской предполагающей наличие двух советов директоров — наблюдательного, осуществляющего общие функции наблюдения и контроля, и исполнительного, в задачи которого входит непосредственное управление корпорацией. Причем «исполнительный совет подотчетен наблюдательному совету в правильном использовании данных ему полномочий... в рамках немецкой системы исполнительный совет предполагает, наблюдательный — располагает» [Корпоративное... 1996, с. 85]. Такое разделение позволяет достаточно четко отделить функции хозяйственного управления от общенадзорных функций, а также функций формулирования общих целей компании, что является прерогативой собственника, а не менеджмента.

Однако сам беспрецедентный размер столь гигантской «корпорации», как «единый народнохозяйственный комплекс», диктовал свою специфику функционирования этих двух типов советов — «директоров-собственников» и «директоров-практиков». В основе сложившейся у нас структуры лежало разделение органов, осуществляющих функции собственника, вырабатывающих стратегию управления имуществом, и органов, управляющих текущими процессами. Размер же страны диктовал построение этих двух управленческих органов в виде «двух вертикалей», пронизывающих всю систему сверху донизу. Общенадзирающие функции собственника осуществлялись партийной вертикалью, начиная с Политбюро и ЦК КПСС и далее через обкомы, горкомы и райкомы партии и кончая парткомами предприятий. Функции же оперативного управления взяла на себя хозяйственная вертикаль, возглавляемая Советом Министров СССР (ранее — Совнаркомом) с его министерствами и подотчетными им структурами, завершающаяся администрацией предприятий (См.: [Плискевич 1999]).

Такая организационная структура отмечается многими учеными, которыми, однако, при этом не выделяется господствовавшая в советской системе партия-государство в качестве истинного собственника «общенародной (государственной) собственности», хотя именно это, на мой взгляд, дает ключ к

пониманию последующих процессов, связанных с распадом советской системы. В частности, у Ясина приводится схема советской иерархии управления, где наглядно представлены партийная и правительственная вертикали управления и связи между ними [Ясин 2002, с. 35]. А у Кудрова говорится о «четкой и ясной, как в армии, иерархии управленческого аппарата» [Кудров 2000, с. 81]. Он выделяет три управленческие иерархии — партийную, хозяйственную, а также «третью иерархию — Комитет госбезопасности», которая «имела свои ячейки и своих представителей во всех иных управленческих иерархиях, во всех без исключения субъектах общественной жизни страны, осуществляя тотальную слежку за людьми» [Кудров 2003, с. 43—44]. Думается, и такая структура укладывается в представление о родственности советской системы управления и управления акционерным обществом. Третью иерархию, связанную с КГБ, в советской системе можно сравнить с системой внутреннего аудита в акционерном обществе, хотя, разумеется, данное сравнение довольно грубо и это очень большая натяжка, ибо здесь речь идет о структуре, распространяющей сферу своего кровавого влияния на всю жизнь общества. В этой сложившейся в стране структуре двух (или трех) управленческих вертикалей выделяется главная — вертикаль партии-государства как подлинного собственника общенародной (государственной) собственности. Ибо и хозяйственная вертикаль, и даже вертикаль госбезопасности были подчинены ей через жесткую систему партийной ответственности.

Жесткая рука партии-государства как истинного собственника практически всех значимых ресурсов страны проявлялась во всем. Экономика работала в соответствии с директивами пятилетних планов, принимавшихся на партийных съездах. Только после такого ритуала они спускались «к исполнению» в государственные органы, осуществляющие непосредственную управленческую деятельность. То, что в своих решениях КПСС исходила не из экономической, а прежде всего из политико-идеологической целесообразности, влияло только на избираемые критерии эффективности работы как всего народного хозяйства, так и отдельных предприятий. Степень рациональности предпринимаемых действий оценивалась в такой системе прежде всего, исходя из определенных политических приоритетов (достижение военного паритета с США, покорение космоса и т. д.), требующих безоговорочного выделения необходимых ресурсов, или идеологических предпочтений (например, безвозмездная поддержка идеологически близких течений и правительств по всему миру или обеспечение ресурсами тех или иных идеологических кампаний и т. д.). В этой ситуации экономические критерии эффективности отступают на второй план. Но такова была воля собственника, действовавшего к тому же в бесконкурентной среде.

В то же время сама сложность системы управления, построенной на взаимодействии двух иерархических вертикалей, на каждом из этажей которой складывались и свои горизонтальные отношения, предопределяла неизбежность процесса «размягчения» жесткости контроля собственника над непосредственными управленцами, что с течением времени и произошло. По мере ослабления жесткости партийной вертикали и строгости применяемых санкций за разного рода отступления от спускаемых «сверху» директив у партийных кураторов более низких уровней появлялась возможность по-своему трактовать интересы собственника, вплетая в них и корпоративные интересы, формирующиеся на тех или иных этажах иерархии.

Стал складываться своего рода корпоративный сговор, участники которого имели двойные стимулы. «Во-первых, функции контроля, как правило, не были четко обособлены от иных функций управления. В результате внешнее управление курирующих организаций воспринималось в некоторой степени как заслуга надзирающих за ними чиновников. Во-вторых, считалось более или менее допустимым, если чиновник с разрешения директора вне очереди приобретал на курируемом предприятии его дефицитную продукцию или пользовался другими льготами» [Якобсон, Макашева 1996, с. 8]. Это касалось отношений как партийных кураторов, так и государственных управленцев более высоких уровней, в частности формировавших планы и контролировавших их исполнение.

В результате партия-государство в послесталинский период, когда фактор страха был существенно ослаблен, постепенно стала утрачивать имевшиеся ранее возможности по управлению собственностью. Такая ситуация с неизбежностью провоцировала у непосредственных управленцев чувство бесконтрольности, возможности использовать служебное положение в собственных интересах, которые нередко оказывались отличными от интересов возглавляемых ими объектов. Да и корпоративные интересы не только управленцев конкретных производств, но и возглавляемых ими трудовых коллективов часто пусть и не входили в противоречие, но просто «не состыковывались» с диктуемыми партийной вертикалью интересами собственника. В таких случаях начинала «размываться» сама партийная вертикаль собственника, ибо представляющие ее низовые звенья — парткомы на предприятиях — оказывались в сложном положении. С одной стороны, они были частью этих самых коллективов, а с другой — должны были от имени собственника непосредственно надзирать за делами предприятия. Поэтому либо сигналы о неблагополучии шли по партийной вертикали «наверх», либо, что бывало чаще, корпоративный интерес брал верх и «сигналов» не было. Но это собственно и означало, что советская система управления собственностью начинала давать сбои и контроль собственника за состоянием производства постепенно утрачивался. «Брежневский социализм в экономике можно охарактеризовать очень коротко — это было рыхлое государственное хозяйство. Доминирующим принципом было: “Кто что охраняет (от имени государства), тот то и имеет”. Все большая часть выгод от номинально принадлежащих государству ресурсов фактически приватизировалась их распорядителями без адекватной приватизации издержек» [Якобсон 1995, с. 90].

Все это означало, что в недрах советской системы созревали условия для новой мутации собственности. Причем данный процесс охватывал не только управленческую верхушку, но и все население. Последнее обстоятельство было связано прежде всего с еще одним аспектом функционирования советской системы собственности — регламентацией процессов личного потребления.

«Власть—собственность» и потребности населения

В структуре советских отношений собственности, на мой взгляд, весьма важным представляется еще один аспект, обычно не затрагиваемый исследователями, так как он не входит в стандартный набор определяющих признаков собственности — прав владения, распоряжения и использования имущества. Между

тем этот аспект представляется чрезвычайно важным, ибо процессы мутации собственности XX в. в нашей стране, связанные с возрождением системы «власти—собственности» и ее дальнейшей эволюцией, протекали в условиях, принципиально отличавшихся от условий восточных деспотий.

Это — условия инструментальной модернизации экономики страны, создания мощного индустриального потенциала. Но переход к индустриальному обществу и связанная с ним урбанизация характеризуются, в частности, и тем, что подавляющее большинство населения начинает работать по найму, а потому и средства к существованию получают исключительно в форме заработной платы. В такой ситуации работники оказываются в принципиально ином положении, чем в традиционном аграрном обществе, где основная масса населения добывает средства пропитания в рамках натурального хозяйства собственного подворья. Поэтому в условиях, сложившихся в советской системе «власти—собственности», проблема самого физического выживания людей была поставлена в самую непосредственную зависимость от действующей власти, вплетена в общую канву отношений «власти—собственности», ибо в основе ее лежал один из важнейших видов монополии, характеризующий эту систему, — монопольное распоряжение трудовыми ресурсами.

Нельзя также не отметить и то, что хотя «диктатура пролетариата» большевиков смогла задавить народные движения, приведшие ее к власти под лозунгами достижения социальной справедливости, все же страна (особенно во второй половине XX в.) жила не в вакууме, и проблемы достойной жизни людей и социальной справедливости, пусть и искаженные официальной пропагандой, всегда оставались одними из важнейших. А с началом разложения системы они выступили на первый план. Поэтому характер и организацию процессов личного потребления людей необходимо рассматривать в единстве с иными аспектами мутации советской системы «власти—собственности»⁵.

Закономерность обращения к теме организации распределения и потребления имеющихся в обществе благ в рамках рассмотрения специфики советской «власти—собственности» обусловлена также одной важной чертой советского строя, отмеченной Л. Гордоном и Э. Клоповым. Они обратили особое внимание на то, что у нас конструкция «реального социализма» отличалась *избыточной прочностью* [Гордон, Клопов 2000, с. 56]. Одной из важнейших сфер, призванных накрепко зацементировать конструкцию советской системы, а потому и органически входящей в структуру отношений «власти—собственности», и была система организации распределения и потребления в советском обществе. Причем идеологически данная сфера вписывалась самими властями в отношения собственности, которая, как известно, провозглашалась «общенародной».

Монополия на практически все имеющиеся производственные ресурсы — отличительная черта системы «власти—собственности». Отличительной чертой

⁵ Этот аспект специально выделяется О. Шкаратаном, который в качестве одной из характеристик этакратизма выделяет «государственную собственность на рабочую силу, государственный наем как преобладающий источник средств существования для большинства населения, превращенного в государственно зависимых работников» [Шкаратан 2004, с. 89]. По его мнению, «социальные привилегии — органичная часть этакратической системы — неизбежно входят в социальную политику этой системы» [Государственная... 2003, с. 61].

советской системы в ее классической форме было то, что в качестве единственного работодателя здесь выступало государство (точнее — партия-государство как собственник практически всех средств производства).

Не случайно Ленин с ненавистью относился к так называемой «мелкобуржуазной стихии». Речь шла не только о том, что мелкобуржуазный сектор, постоянно возрождая на конкурентной основе формы производства, призванные удовлетворять прежде всего непосредственные потребности населения, мог бы обеспечивать и материальную базу для развития в стране политической оппозиции (пусть даже и в форме внутрипартийной борьбы). Независимое мелкотоварное производство давало связанным с ним людям — и мелким собственникам, и работающим у них по найму — независимый от государства источник средств к существованию. Подавив мелкое товарное производство, начавшее было развиваться в условиях нэпа, и осуществив принудительную коллективизацию, партия-государство практически лишила людей этого источника, распространила свою монополию и на сферу личного потребления, встроив ее в общую иерархическую структуру. Более того, опираясь на революционные лозунги социальной справедливости, партийная пропаганда смогла сконструировать картину «образцового социалистического потребления», который закрепился в культуре, ибо хорошо накладывался на социокультурные стереотипы, господствовавшие в нищей стране. Последствия этого, как ни странно, мы ощущаем и по сей день.

Будучи монополистом-работодателем, от расположения которого зависела возможность получения средств к существованию, партия-государство получила реальные рычаги для того, чтобы диктовать свои условия при найме рабочей силы. Причем утвердившаяся в стране практика сверхэксплуатации не только не скрывалась, но и получила официальное идеологическое обоснование, опиравшееся прежде всего на господствовавшую мифологию об «общенародности» социалистической собственности. Достаточно цинично утверждалось, что «социализм уничтожает деление труда и продукта на необходимый и прибавочный как *выражение отношений эксплуатации*. Но социализм воспроизводит это деление на *новой* основе, выражающей коллективистские отношения сотрудничества и взаимопомощи ассоциированных работников общественного производства» [Курс... 1974, с. 147].

Такой подход позволял обосновать практику сокращения величины заработной платы до минимального уровня. Теорией «политической экономии социализма» был узаконен факт присвоения государством не только прибавочного продукта как при предшествующем эксплуататорском строе, но и существенной части продукта необходимого. Считалось, что в качестве заработной платы человеку достаточно минимума средств для удовлетворения индивидуальных потребностей. Потребности же в таких областях, как образование, медицинское обслуживание, пользование жилищем, транспортом, гораздо лучше и полнее могут быть реализованы в коллективной форме, а потому средства на их удовлетворение должны быть выделены в так называемые «общественные фонды потребления». Более того, считалось, что «при совместном пользовании ряд личных потребностей может быть удовлетворен наиболее эффективно и с наименьшими затратами труда» [Там же, с. 149]. Так подводилась «теоретическая база» под обоснование крайне низкой заработной платы советского работника

— «члена ассоциации свободных производителей», т. е. «коллективного собственника средств производства»⁶.

Более того, согласно пропагандистскому обоснованию благотворности для общества выделения «общественных фондов потребления» следовало, что благодаря им «удовлетворение потребностей людей осуществляется обществом более или менее независимо от трудового вклада работников, и прежде всего в пользу низкооплачиваемых и малообеспеченных семей, поскольку происходит подтягивание уровня потребления прежде всего тех, чьи потребности в расчете на душу за счет заработной платы удовлетворены меньше» [Там же, с. 368]. На самом деле, как известно, приоритетность доступа к «общественным фондам потребления» обуславливалось отнюдь не низкой заработной платой, а положением в иерархической структуре советского общества.

Созданная ситуация монополизации средств к существованию и возможности манипулирования «общественными фондами потребления» позволила партии-государству в управлении обществом широко использовать и такой фактор страха, как боязнь лишиться работы с «волчьим билетом», т. е. без какой-либо возможности дальнейшего трудоустройства по специальности. Причем это касалось не только широких слоев населения, но и представителей так называемой номенклатуры, включая самые высшие эшелоны.

Разумеется, в целом нельзя не признать справедливости утверждения, что такие услуги, как медицинские, образовательные, по предоставлению жилья, действительно более рационально оплачивать в иных формах, нежели связанных с оплатой обычных благ личного потребления. И такие формы были найдены в рамках западной социально-экономической модели — медицинская или пенсионная страховка, образовательный или ипотечный кредит. Смысл их коренным образом отличается от варианта, предложенного господствовавшей у нас системы «власти—собственности». Если в последней изъятия в «общественные фонды потребления» обезличивались, а выдачи из них зависели прежде всего от места в иерархической структуре общества, то в условиях западной социально-экономической модели накопления граждан в страховых фондах или выплаты по кредитным договорам индивидуализированы. Благодаря им люди не только получали возможности решения своих проблем, но и имели средства контроля

⁶ В классические времена советской системы (в 1930—1950-х годов) уровень средней заработной платы был ничтожен и позволял покрывать лишь минимальные потребности. Например, в 1940 г. она составляла 33,1 руб. К началу 1960-х годов стал очевиден деструктивный характер сложившейся ситуации, и в основу «косыгинских реформ» была положена идея материального стимулирования работников. Однако связанный с ее реализацией рост заработной платы принципиально ситуацию не изменил. Хотя можно говорить о некоторых изменениях отраслевых пропорций в оплате труда. Так, по сравнению с послевоенным уровнем менее оплачиваемым стал труд в сфере науки (если в 1960 г. средняя зарплата в науке и научном обслуживании была в 1,4 раза выше средней по стране, то в 1980 г. это соотношение снизилось до 1,05), а такие сферы, как здравоохранение, образование, культура или ЖКХ традиционно числились в аутсайдерах по уровню заработной платы [Народное... 1988, с. 390—391]. Учитываемые статистикой выплаты из общественных фондов потребления к 1987 г. увеличивали номинальные доходы граждан почти на треть, причем в большей степени это касалось работающих в промышленности (за счет большего обеспечения этими фондами предприятий сферы ВПК) [Народное... 1988, с. 394].

за всеми удерживаемыми у них суммами. В системе «власти—собственности» об этом не могло быть и речи. Сегодня же, пытаясь перейти, например, к созданию страховых или кредитных схем оплаты подобных услуг, мы часто сталкиваемся с непониманием самой сути новых институтов, ибо старые стереотипы закрепились в нашей культуре потребления (что не мешает, впрочем, процветанию разного рода теневых отношений в указанных сферах, также перешедших из советской эпохи).

Кроме того, во встроенную в систему «власти—собственности» иерархическую систему потребления была заложена еще одна проблема, больно ударившая по людям при ее распаде. Ибо само выделение крупной группы расходов, которые предполагалось покрывать из «общественных фондов потребления», породило и соответствующую такой практике структуру личных расходов людей. В этой структуре, например, минимальную долю занимали расходы на оплату услуг ЖКХ. В соответствии с установкой эпохи индустриализации на приоритет промышленности перед сельским хозяйством относительно низкими были цены на продукты питания, цены же на промышленные товары потребительского назначения, напротив были существенно выше, и доля расходов на них в структуре потребительских бюджетов была непропорционально высокой (причем существенную часть цен потребительских товаров составлял «налог с оборота», т. е. средства эти также шли в «общий котел», точнее — прежде всего на такие приоритеты, как ВПК, а не на развитие соответствующих отраслей).

Такая структура потребительских расходов могла более-менее удовлетворять общество при стабильности системы. При крушении же ее эти вопросы так и не были вынесены в качестве приоритетных. И люди столкнулись с тем, что лоббисты ранее дотируемых отраслей все настойчивее стали требовать от них оплаты своих товаров и услуг, ибо отрасли эти перестали получать от государства средства в привычных для них объемах. Хотя и эти объемы, как известно, далеко не покрывали необходимых расходов, не говоря уже о крайней неэффективности расходования средств.

Основы катастрофического состояния, например, системы ЖКХ страны были заложены еще в советский период. Сегодня же население больше всего страдает от роста цен на услуги ЖКХ и продовольствие, который намного обгоняет общие темпы инфляции. И это — следствие структуры лично оплачиваемого потребления, которая утвердилась в советский период и которую сегодня пытаются приспособить к рыночным условиям, забывая, под воздействием каких факторов она сформировалась.

Пропагандируемый в массах потребительский аскетизм, весьма уместный в нищей стране, все силы направлявшей сначала на индустриализацию, затем на гонку вооружений, вполне соответствовал выстроенной системе иерархических привилегий, основным потребителем которых была номенклатура, как занимавшая верхние ступени иерархии. Но в такой ситуации она особо чувствовала не только превосходство над иными слоями общества, но и свое крайне зависимое положение. Ибо юридически она не обладала большей частью того, чем пользовалась, и, таким образом, оказывалась в полной зависимости от лояльности реальному собственнику — партии-государству. Правда, нельзя не признать и того, что подобная практика получения доходов от собственности обладала и своими преимуществами, особенно для представителей высших слоев иерархии.

Ведь пользующийся благами от тех или иных бытовых объектов «общенародной (государственной) собственности» в то же время был освобожден от забот и расходов по ее содержанию и эксплуатации, от ответственности за ее сохранение и поддержание в должном состоянии, не говоря уже об издержках по уплате налогов на имущество.

В целом, однако, вновь важно подчеркнуть, что система распределения благ в рамках «общественных фондов потребления» была построена таким образом, что охватывала все слои общества сверху донизу. Она скрепляла все общество своеобразным «общественным договором», согласно которому люди соглашались получать на руки сумму, заведомо не покрывающую всех необходимых потребностей при гарантии со стороны властей предоставить им возможность удовлетворения ряда потребностей в определенных ситуациях.

Правда, к середине 1980-х годов разнокачественность благ, предоставляемых людям, находящимся на разных ступенях иерархии, из «общественных фондов потребления», стала вызывать все большее общественное недовольство. Оно вылилось, в частности, в достаточно громкую кампанию против привилегий, развернувшуюся в годы перестройки. Тогда в повестку реальной политической борьбы вошли требования прекращения предоставления высшим слоям иерархии различного рода льгот, привилегированного обслуживания, в том числе и связанного с выполнением служебных обязанностей. И это было, с моей точки зрения, одним из сигналов того, что существующая в стране система «власти—собственности» изжила себя и общество начало осознавать необходимость смены утвердившейся конструкции.

К тому времени и номенклатурную среду перестали удовлетворять сложившиеся правила игры. Свою роль сыграло и открытие «железного занавеса» с возможностью для отечественных управленцев посещать не только страны «социалистического лагеря», но и западноевропейские государства. И сравнивая свой уровень жизни с уровнем жизни своих западноевропейских коллег того же класса, они не могли не ощущать себя просто нищими при всех своих «льготах и привилегиях». Кроме того, хорошо уповать на то, что сложившаяся система полностью тебя обеспечит и возьмет на себя все издержки по поддержанию инфраструктуры этого обеспечения, в ситуации, когда она надежна и стабильна. Если же появляются признаки ее разложения, а тем более распада, все гарантии становятся призрачными. Не удивительно, что распад системы спровоцировал неописуемую вакханалию прежде всего в высших слоях иерархии, в руках представителей которых оказались реальные инструменты «перекройки» старых отношений в свою пользу.

Но анализируя события конца 1980—1990-х годов, мы упускаем из вида особенности конструкции «власти—собственности» советского типа, связанные с изъятием у всего населения части необходимого продукта и особенностями его перераспределения через «общественные фонды потребления». Это — такая же органическая часть советской «власти—собственности», как и ее черты, связанные с владением, распоряжением и использованием имущества. В связи с ситуацией перераспределения через «общественные фонды потребления» граждане страны оказывались втянутыми в иерархические отношения перераспределения доходов от собственности. И в каком-то извращенном смысле эта собственность обретала черты «общенародной».

Такой подход к отношениям «власти—собственности» позволяет по-новому взглянуть на проблему приватизации и на то, что в действительности потеряла основная масса советских людей в результате распада старой системы. Причем эта масса людей к концу 1980-х годов вполне созрела для отказа от отношений «власти—собственности» в сфере потребления, свидетельством чему, как уже говорилось, было массовое неприятие системы иерархических льгот и привилегий. В то же время осознание необходимости отказа от советской формы «общенародной (государственной) собственности» как воплощения системы «власти—собственности» *не затрагивало проблемы компенсации работникам насильственно изымаемой у них части необходимого продукта.*

Одним из инструментов балансирования спроса и предложения в потребительской сфере и было изъятие части необходимого продукта в «общественные фонды потребления», из которых работники, прежде всего квалифицированные, но находящиеся на низких ступенях иерархии, выстроенной верховным собственником — партией-государством, получали существенно меньше того, что у них изымалось. Однако в условиях стабильности системы у них оставались право на пользование этим источником и надежда на то, что в критической ситуации хотя бы в какой-то степени этим правом можно будет воспользоваться. Полагаю, что та часть заработной платы, которая традиционно не доплачивалась работникам в советских условиях под тем предлогом, что они являются «членами ассоциации свободных производителей», также входила в качестве существенной части в «общенародную (государственную) собственность». И эта часть никоим образом не была учтена в процессе распада системы и отказа от данной собственности.

Причем важность этой потери не столько в том, что благодаря низким заработным платам создавался дополнительный поток перераспределения средств для покрытия общегосударственных нужд, сколько в том, что и после крушения советской системы качественного пересмотра политики в сфере оплаты труда не произошло, и работники по-прежнему не получали части необходимого продукта. Известно, что даже в середине 1980-х годов на высшем уровне достигнутого в СССР благосостояния заработная плата, составлявшая у нас главную часть денежных доходов подавляющего большинства населения, «уступала заработкам в наиболее развитых странах на порядок, а в менее развитых странах — в несколько раз». Если по явно завышенному официальному курсу в 1985 г. средняя заработная плата в 190,1 руб., исходя из паритета покупательной способности валют составляла около 150 долл., то в США, Великобритании, Франции, Италии в этот период средняя зарплата составляла 1000—2000 долл., а в таких странах, как Греция или Португалия — 500—1000 долл. [Гордон, Клопов 2000, с. 125]. Во многом производными от этого оказывались и существенно более низкие показатели личного потребления, обеспеченности жильем и предметами длительного пользования у советских людей по сравнению с зарубежными критериями даже в рамках «социалистического лагеря».

Такова была фактическая ситуация к началу 1990-х годов, когда старая система с ее иерархическим распределением части необходимого продукта через «общественные фонды потребления» рухнула. Восторжествовавшая в условиях эйфории крушения советской политической системы идея «народной приватизации», затем вполне закономерно принявшей форму приватизации ваучерной (хотя идеологи «народной приватизации» и утверждали впоследствии, что между

ними нет ничего общего), совершенно проигнорировала рассматриваемую здесь проблему. Не был даже поставлен вопрос о необходимости коренного пересмотра политики формирования заработной платы в стране и возвращения работникам части изымаемого у них необходимого продукта.

Разумеется, то, что данный вопрос был тогда проигнорирован, отнюдь не случайно. И не только потому, что об этом не позаботились идеологи. Основная причина была в том, что фактически этот неоплачиваемый необходимый продукт был «проеден» старой системой, причем на годы вперед. И выражалось это прежде всего в крайне деформированной структуре советского производства. Она была сформирована верховным собственником — партией-государством, как уже отмечалось, на основе прежде всего идеолого-политических, а не экономических критериев. Нацеленность производства в основном на удовлетворение запросов военно-промышленной сферы и отраслей, ее обслуживающих, привела к тому, что отрасли, призванные удовлетворять потребности населения, были не способны обеспечить натуральное покрытие этих потребностей.

В этой ситуации, с одной стороны, номинальное увеличение заработных плат вело лишь к быстрому росту инфляции (что мы и наблюдали во второй половине 1980-х годов сначала в скрытой форме тотального дефицита, а затем и в открытой форме). С другой стороны, подавляющее большинство предприятий отечественной промышленности не было приспособлено к работе в новых условиях и фактически оказалось в положении банкротов, не способных оплачивать труд своих работников даже на прежнем нищенском уровне. При этом важно, что доля оплаты труда во всех затратах на производство оказалась в 1990-х годов беспрецедентно низкой — 11—14% в промышленности и максимум до 30% в строительстве и сельском хозяйстве [Гордон, Клопов 2001, с. 179]. Ситуацию не спасал и относительно высокий рост реальной заработной платы в начале 2000-х годов, который составил, в частности, от 21% в 2001 г. до 10,9% в 2003 г. [Гайдар 2005, с. 408]. Однако весь этот рост пока так и не компенсировал потерь, понесенных работниками за первое десятилетие реформ.

Разрыв с иерархическим потреблением с его вычетами в пользу «общественных фондов потребления» части необходимого продукта, а, соответственно, с системой «власти—собственности» реально было осуществить лишь на основе резкого роста производительности труда, позволившего бы начать существенное повышение реальной заработной платы, означавшее возвращение работникам той части необходимого продукта, которая изымалась в данные фонды. Однако на пути такого решения проблемы стояло не только отсталое техническое оснащение большинства отечественных предприятий, за десятилетия привыкших отвечать прежде всего за выполнение «плана по валу», что препятствовало перспективному развитию производства на основе научно-технического прогресса⁷.

⁷ Примечательно, что в начале 1980-х годов на заседании Секции общественных наук Президиума АН СССР, посвященном вопросам внедрения в производство достижений научно-технического прогресса, наиболее настойчиво звучало предложение о том, чтобы сделать «план по научно-техническому прогрессу» таким же директивным показателем, как и «план по валовому выпуску продукции». Ибо, как подчеркивали выступавшие, в противном случае директора просто игнорируют задания по внедрению у себя научно-технических достижений, как мешающих выполнению и перевыполнению основных плановых заданий текущего периода.

Не менее, а может быть и более важным фактором следует признать то, что большинство отечественных управленцев были просто не способны перестроить свою работу с позиций критериев экономической рыночной эффективности. И если до 1992 г. они не ощущали видимых стимулов к переменам, то после начала рыночных реформ это стало трагедией для большинства наших предприятий (хотя, к сожалению, весьма часто не для их руководителей, использовавших в личных целях оказавшиеся в их распоряжении ресурсы).

А о том, что такие управленческие резервы были, свидетельствует опыт многих предприятий, сумевших в 1990-е годы встать на ноги. Причем и в топливно-энергетическом комплексе успех зависел не только от ценовой конъюнктуры, но и от грамотного управления. Можно в качестве примера привести ситуацию в компании ЮКОС. Когда М. Ходорковский и его команда пришли к руководству компанией, себестоимость барреля добываемой ею нефти составляла 12 долл. (при цене в тот период 8 долл. за баррель). Грамотный менеджмент и внедрение новых технологий позволили за относительно короткий период снизить себестоимость добычи 1 барреля нефти до 1,5 долл. и уже на этой основе качественно повысить заработную плату рабочим (и рассчитаться с миллиардными долгами, накопленными в предшествующий период) [Панюшкин 2006, с. 237]. Такие примеры в отечественной экономике отнюдь не единичны, и именно данный путь открывает выход из ситуации изъятия у трудящихся части необходимого продукта и отказа от иерархического распределения и потребления, присущего системе «власти—собственности». Игнорирование же этой проблемы породило появление в стране обширной категории «новых бедных» — работающих людей, трудовые доходы которых не позволяют им покрывать самые необходимые потребности.

Однако в 1992 г. к такому пути в подавляющем большинстве ни отечественные предприятия, ни государство не были готовы, а резкий переход инфляции из закрытой формы в открытую привел к деградации существующих заработных плат и пенсий, и без того не покрывающих необходимые для нормального существования издержки. В результате *de facto* руководство страны пошло по пути выстраивания привычных механизмов предоставления различных льгот из «общего кармана», каковым стал консолидированный государственный бюджет. Именно тогда — в начале 1990-х годов — был введен ряд массовых льгот, попытка монетизации которых в 2005 г. вызвала наибольшие протесты. Речь идет прежде всего об отмене оплаты услуг городского транспорта для некоторых категорий граждан (а иногда и для всех), о создании системы полной или частичной оплаты лекарств для нуждающихся в них инвалидов и т. д. Даже такая, ставшая бессмысленной сегодня из-за мизерности выплаты, как «выплата на ребенка», была введена как раз в период начала реформ.

Представляется, что рассмотрение проблемы льгот в общем контексте мутации системы «власти—собственности» дает более полный ответ на вопрос, почему в 1990-е годы — «годы рыночных реформ» у нас не только не произошел отказ от системы льгот и привилегий, но, напротив, этот социальный институт стал даже разрастаться. Основная причина сложившейся ситуации видится в том, что господствовавшая в стране система «власти—собственности», как уже отмечалось, в качестве одной из своих составных частей включала монопольный контроль за предоставлением средств к существованию подавляющему боль-

шинству членов общества. К периоду кризиса и разложения советской системы «власти—собственности» произошел «кризис системы лояльности солидарности», т. е. «значительные группы людей почувствовали, что вознаграждения (материальные и моральные) не соответствуют требуемым затратам энергии и обязательств» [Лэйн 2005, с. 108—109]. Однако из-за невозможности перевода ранее изъятой доли необходимого продукта в форму заработной платы, а также в связи с общими процессами мутации системы «власти—собственности», о которых будет сказано ниже, страна не смогла отказаться от привычных инструментов в виде льгот и привилегий. То есть была сохранена иерархическая форма распределения и потребления благ, присущая системе «власти—собственности».

Разные этажи иерархии по-разному приспособлялись к новым условиям. По существу, в числе самых обездоленных оказались наиболее нуждающиеся в социальной поддержке, те, кто по западным стандартам и должны быть основным объектом государственной заботы. Этот факт, в частности, находит косвенное выражение в том, что, согласно западным критериям, лишь около 20% средств, выделяемых государством на различные виды социальной помощи, расходуются эффективно, т. е. доходят именно до тех, кто должен быть их получателем. Данная ситуация обычно трактуется как отсутствие у российского государства осознанной социальной политики. Мне представляется, что в связи с вышеизложенным в качестве адекватно отражающего ситуацию можно предложить следующее утверждение: «Кажущаяся неэффективность декларируемой социальной политики как политики социальной помощи слабым скрывает ее успешно реализуемые, но не афишируемые цели и механизмы: социальная стабильность на основе неявного консенсуса власти и населения, который строится на экономике выживания» [Государственная... 2003, с. 62—63]. В сложившейся ситуации, когда работники получали в форме заработной платы лишь часть необходимого продукта, государство вынуждено возвращать им хотя бы некую долю другой его части в форме различного рода льгот. Причем возврат этот далеко не полный, ибо средств на покрытие всех признанных государством обязательств у власти просто нет.

В таких условиях предпринимаемые государством попытки «сбросить» с себя основные социальные обязательства чреваты серьезными социальными протестами. Ибо, с одной стороны, затраты основных отраслей, призванных обслуживать население, — здравоохранения, образования, ЖКХ — неоправданно высоки. С другой стороны, население в массе своей не может оплачивать те услуги, в счет оплаты которых фактически у него годами изымалась часть необходимого продукта в пользу так называемых «общественных фондов потребления», а роста заработной платы, эквивалентного производимым удержаниям, так и не произошло.

Более того, такие требования оплаты уже оплаченного оно считает крайне несправедливым. И именно в этом лишении возможности (пусть часто и прозрачной) пользования «общественными фондами потребления» работниками как членами сообщества «ассоциированных производителей» — коллективных собственников «общенародной (государственной) собственности» многие усматривают реальные потери, которые они понесли в ходе реформ, и в частности приватизации. Сам предложенный людям титул собственности в виде

тех или иных акций для большинства носил все же абстрактный характер. В то же время лишение права получения привычных благ, пусть и плохого качества на низших ступенях иерархии, без соответствующих компенсаций означает для подавляющего большинства населения реальное снижение и так упавшего уровня жизни.

Нельзя не отметить и тот факт, что те самые льготы и привилегии высших слоев иерархии, против которых столь резко выступало общество в конце 1990-х годов, не только не были ликвидированы, но и приумножились. Формально низкие должностные оклады государственных чиновников высоких и даже средних уровней существенно дополняются различного рода натуральными услугами, стоимость которых на порядок превышает выплаты в форме заработной платы. Эта ситуация, с одной стороны, обусловлена инерцией существования старой инфраструктуры обслуживания номенклатуры, сохранившейся с советских времен, а с другой — является еще одним свидетельством того, что иерархические отношения, присущие системе «власти—собственности», в системе потребления так и не были преодолены. И показательно, что осуществленные в последние годы резкие повышения заработных плат высшим чиновникам не сопровождалось отменой тех или иных льгот. Напротив, льготы и привилегии для государственных чиновников стали закрепляться законодательно. Однако в новых условиях само их существование перестало быть в жизни чиновничества таким же важным фактором, как в предшествующий период. Это обусловлено особенностями начавшегося процесса мутации системы «власти—собственности» в частнособственническо-рыночную систему и связанной с ним сменой собственника в исходной системе.

Попытка новой мутации собственности и ее результаты

Итак, не существует непреодолимой преграды между системой «власти—собственности» и частнособственническо-рыночной системой. Появившаяся в результате мутации последней советская система «власти—собственности» сама содержала в себе возможности для обратной мутации. Все предпосылки для новой мутации собственности созрели в стране к середине 1980-х годов. Это проявлялось в самых разнообразных формах. Можно говорить и о том, что начавшиеся после 1950-х годов попытки реформирования советской хозяйственной модели с целью придания ей динамизма, основывающиеся на вплетении в ее структуру некоторых элементов рынка, на деле вели лишь к деформации исходной конструкции, принявшей к концу 1980-х годов обвальный характер [Плискевич 1998]. Важно и то, что, как отмечалось выше, сами мутации собственности становятся возможными благодаря тому, что основные противостоящие друг другу системы (и «власти—собственности», и свободного рынка) в реальности не существуют в чистом виде.

Сама конструкция советской системы «власти—собственности», нацеленной прежде всего на решение глобальных государственных задач и пренебрегавшей удовлетворением многочисленных повседневных потребностей людей, создавала условия для того, чтобы функцию удовлетворения этих потребностей взяла

на себя неформальная (эксполярная) экономика. Говоря о структурах этой экономики, Т. Шанин отмечает, что «массовые индустриализация и урбанизация... начиная с 1930-х годов не заставили их исчезнуть, а только придали им иные формы. В 1930—1980-х годах советское общество несло в себе обширный компонент эксполярных отношений. В самом деле, советская экономическая система не смогла бы работать без этой “смазки”» [Шанин 1999, с. 28].

Более того, сами растущие год от года диспропорции советской экономики провоцировали разрастание неформального сектора. Начавшийся в связи с «косыгинскими реформами» с их идеей «материального стимулирования» рост заработной платы прежде всего в секторе ВПК не находил своего натурального покрытия. То же можно сказать о выплатах работникам в других отраслях общественного производства, а также о регулярном гигантском вбросе в экономику не имеющих натурального покрытия денежных средств, которое было связано с выплатой как денежного довольствия служащим силовых структур, так и зарплат работникам постоянно разрастающегося государственного аппарата. Часть этих средств удавалось стерилизовать в виде сбережений населения (безразлично, хранящихся дома или в Сберегательной кассе).

Однако значительная их часть шла на оплату теневых товаров и услуг. Не будем забывать, что в советских условиях кругооборота теневого сектора экономики могли обслуживаться лишь в налично-денежной форме и ориентироваться на реальный платежеспособный спрос. И к середине 1980-х годов теневой налично-денежный оборот, провоцируемый не обеспеченными натуральным покрытием официальными денежными выплатами населению, приобрел такие масштабы, что уже можно было говорить о мощной теневой экономике страны. С активизацией кооперативного движения и разрешением «индивидуальной трудовой деятельности» лидеры теневого сектора выдвинулись на передний план проводимых преобразований⁸, привнося в них деловую культуру, привычки и принципы, воспитанные в нелегальной, неправовой сфере отношений. Это также не могло не сказаться на характере проводимых реформ. Здесь же важно подчеркнуть: сам масштаб теневой экономики свидетельствовал о том, что система «власти—собственности» уже не всемогуща и созрела для мутации.

К мутации систему «власти—собственности» подталкивали и развивающиеся в ее недрах микропроцессы, и ее контакты с окружающим миром, избежать которых она не могла. Их разрешение оказывалось невозможным без перехода экономики страны на рыночные рельсы и более гармоничного включения в процессы глобализации. Качественное изменение ситуации было связано с тем, что к началу 1980-х годов индустриализацию страны можно было считать завершенной, а переход к задачам постиндустриального общества требовал иных форм, нежели те, что сложились при господстве системы «власти—собственности». Ведь в связи с завершением индустриализации централизованное планирование как важнейший инструмент советской системы «власти—собственности» потеряло

⁸ Не будем также забывать, что через кооперативы, организуемые при государственных предприятиях, руководители последних получили возможность обналичивания имеющихся на счетах предприятия безналичных средств, нередко лежащих мертвым грузом, ибо не было соответствующего товарного покрытия и в производственной сфере. Это также стало мощным фактором разбалансировки советского народного хозяйства.

«свои воспроизводственные основания. Последние сводились к гармонизации натурально-вещественного и стоимостного централизованных кругооборотов и, следовательно, целиком были погружены в сферу приоритетных взаимодействий внутри межотраслевого баланса ВВП. Завершение индустриализации означало и завершение возможностей централизованного регулирования межотраслевой пропорциональности (между комплексами, с одной стороны, сырьевым топливно-энергетическим и инвестиционным, с другой — потребительским)» [Евстигнеева, Евстигнеев 2005а, с. 19].

В частности, Л. и Р. Евстигнеевы отмечают: «Эпоха индустриализации в России завершилась формированием полностью оторванных друг от друга оборотов инвестиций (денежно-кредитные обороты) и доходов населения (налично-денежные обороты заработной платы и других доходов населения). Сложилась целостная система комплексов отраслей. Рост индустриальных комплексов стремился к максимуму, что обеспечивалось инфляционными механизмами. Рост потребительского комплекса стремился к минимуму, будучи ориентирован на платежеспособный потребительский спрос, реальные показатели которого были значительно ниже номинальных». Открытие экономики, связанное с отказом от монополии партии-государства как верховного собственника в системе «власти—собственности», позволяло, «с одной стороны, сформировать финансовый капитал как новую, рыночную базу инвестиционно-денежных оборотов, практически инвариантную к пропорциям отраслевых комплексов». С другой стороны, исчезала «жесткая функциональная связь (она в первую очередь фиксировалась автономным характером налично-денежного обращения) между динамикой дохода населения и динамикой фонда заработной платы. В перспективе рыночной макроэкономики динамика дохода должна иметь высокую корреляцию с динамикой денежного капитала, строго говоря — с динамикой национального дохода (менее строго — с динамикой ВВП, еще менее строго — с динамикой основного капитала)» [Евстигнеева, Евстигнеев 2005б, с. 193].

Кроме того, в условиях «современного экономического роста адаптивный потенциал общества, гибкие механизмы, позволяющие приспособливаться к новым вызовам и социальным условиям, — предпосылка сочетания стабильности и развития. Склеротичные, не дающие простора изменениям, закрывающие дорогу к социальному продвижению новым элитам институты увеличивают риски крушения общественных установлений, полномасштабной революции» [Гайдар 2005, с. 626—627]. Сама суть системы «власти—собственности» предполагает крайнюю жесткость ее конструкции, а потому сложившиеся в новую эпоху требования к экономической гибкости, без которых становится невозможным быстрый экономический рост, объективно подталкивают к мутации этой системы.

В то же время, если рассматривать систему «власть—собственность» в ее классических восточных вариантах, то там, как отмечают Нуреев и Рунов, попытки разрыва с этой системой, в том числе и приватизация, всегда выступали «как временный отход от генеральной линии развития, как подготовка нового витка централизации» [Нуреев, Рунов 2002, с. 5]⁹. Уже в начале 2000-х годов эти

⁹ Аналогичную тенденцию описывает и Бессонова, рассматривая «раздаточную экономику».

авторы констатировали, что «после хаоса... к концу 1990-х годов стало очевидно, что система власти—собственности в конкурентной борьбе с новым институциональным устройством не сдала своих позиций» [Там же, с. 11]. Сегодня это утверждение представляется еще более убедительным, и многие тенденции экономической и политической жизни заставляют задумываться о том, действительно ли мы переживаем возрождение системы «власти—собственности» в некоем обновленном виде. Такое развитие событий делает актуальной постановку следующих вопросов: в чем было существо процессов, развернувшихся в сфере собственности на основные средства производства в конце 1980-х годов, как эти процессы отразились на всем ходе приватизации, к какому результату мы сегодня пришли и есть ли перспективы разрыва со ставшими привычными отношениями?

Представляется, что наиболее важным моментом анализа ситуации, сложившейся в нашей стране, должно стать признание того факта, что в Советском Союзе верховным собственником в системе «власти—собственности» была партия-государство — КПСС. Именно неточность в определении верховного субъекта «общенародной (государственной) собственности», на мой взгляд, привела к некорректности выстраиваемых теорий, к ошибочности многих практических шагов.

Признание партии-государства верховным собственником ломает фактически утвердившуюся в середине 1980-х годов конструкцию, согласно которой «общенародная (государственная) собственность» — либо «ничья», либо «собственность номенклатуры». На деле ситуация была иной: ранее легитимный собственник — партия-государство — в результате известных общественно-политических событий прекратил свое существование, не оставив «наследника». И именно в этот момент возникла ситуация «ничейности» собственности, которая, однако, не могла продолжаться долго. Из нее было два выхода. Первый — институционализация собственности как государственной (т. е. выработка четких правил и норм функционирования этой собственности как одного из видов собственности частной, но принадлежащей государству, что предполагает наличие четко расписанных правил, по которым чиновники распоряжаются и управляют государственным имуществом). Второй выход связан с тем, что права собственника «перехватываются» теми, кто и ранее осуществлял от имени собственника функции владения, распоряжения и использования имущества. Такой вариант изначально несет в себе опасность того, что полноценной мутации «власти—собственности» не происходит, видоизменяются лишь некоторые устоявшиеся формы, сохраняющие в то же время способность подчинять себе привносимые из другой системы институты, меняя их изначальное — частно-собственническо-рыночное — предназначение. При этом, учитывая общую тенденцию, обуславливающую объективную необходимость полноценной мутации «власти—собственности», можно считать такой вариант развития неким *промежуточным шагом*, замедляющим общий процесс, но не отменяющим его.

Представляется, что во многом вина (пусть и невольная) за то, что страна избрала второй вариант развития событий, лежит прежде всего на руководстве КПСС конца 1980-х годов. Оно видело тогда свою миссию отнюдь не в том, чтобы открыть новые горизонты развития страны, а в «модернизации социализма» с дозированным привнесением в него ряда демократических и рыночных

институтов, за которыми оно надеялось сохранить свой монопольный контроль, несколько изменив его формы и инструменты.

На деле же такая позиция вела лишь к дальнейшей деформации старой конструкции как «сверху», так и «снизу», но, как показали дальнейшие события, оказалась недостаточной для полноценной мутации системы «власти—собственности». Среди деформаций «сверху» можно выделить два направления. Прежде всего это нечеткость законодательства, инициированного руководством страны. Оно игнорировало важнейший аспект, необходимый для мутации системы «власти—собственности», — четкое правовое определение сути государственного предприятия, работающего в рыночных условиях, детально прописанные механизмы прав и ответственности как государственных чиновников различных хозяйственных ведомств, так и менеджеров, поставленных государством для руководства конкретными предприятиями, являющимися его собственностью. Вообще говоря, речь должна была идти о фиксации новой роли государства в экономике. Причем роль эта очень важна и предполагает наличие *сильного* государства, но выполняющего иные, нежели в системе «власти—собственности» функции. Сильному государству присущ и качественно иной набор методов воздействия на экономические процессы, нежели свойственные плановой экономике советского образца. Поэтому необходимо было качественно изменить работу министерств, отвечающих за развитие экономики страны и законодательно закрепить новые «правила игры».

Представляется, что игнорирование всего этого было обусловлено не только непониманием общей задачи — перехода из системы «власти—собственности» к системе полноценного функционирования государственной собственности как одной из важных частей рыночного хозяйства. Эта часть должна быть подчинена общим для всех правилам, ибо «государственное» тут становится разновидностью «частного», собственником которого является государство как институт, призванный действовать в интересах всего общества. Однако партийное руководство, считая для себя наиболее важной задачей необходимость сохранения в новых формах господства партии-государства как собственника, сознательно шло на деформацию старой конструкции, чтобы сохранить свои позиции в новых условиях. Можно предположить, что в первый период акционирования государственных предприятий, когда права на такой шаг предоставлялись еще в единичных случаях, руководство такими предприятиями поручалось особо доверенным лицам. Эти лица, очевидно, *de facto* брали на себя вполне конкретные обязательства перед партийным руководством, еще управляющим рычагами подлинного собственника, но уже понимавшим, что для распоряжения доходами от этой собственности необходимы новые формы. Благодаря этим формам финансовые потоки предполагалось направлять в нужное «модернизированному» собственнику русло.

Однако ход событий развивался таким образом, что в августе 1991 г. КПСС прекратила свое существование, и в связи с этим назначенные ею менеджеры оказались свободными от взятых на себя обязательств. В результате задуманная новая институционализация прав собственности партии-государства не состоялась. В то же время оказались открыты каналы перехвата бюрократией прав собственности и расширились условия для деформации старой конструкции «снизу».

Нельзя не признать, что об опасностях перехвата управленцами прав собственников ученые говорили еще в 1989—1990 гг., когда еще речи не было о

массовой приватизации (хотя сторонники «народной приватизации» уже пользовались достаточной популярностью). Так, процесс перерождения системы, при котором управленцы стали *de facto* в своих действиях выходить за рамки имеющихся у них полномочий, констатировал В. Найшуль в своей теории «бюрократического торга». Этой точки зрения он придерживается и поныне, в частности, отмечая в одном из своих выступлений, что важнейшая проблема российских реформ заключается в том, что наше государство, вместо того, чтобы установить рыночные правила игры и стать арбитром на рынке, «впустило рынок в себя».

Отнюдь не идеализировал сложившуюся ко второй половине 1980-х годов в стране систему управления собственностью и Ю. Сухотин: «К сожалению, именно руководитель-временщик и рядовой поденщик стали типичными фигурами нашей застойной экономики, свидетельствами «замороженности» хозяйских потенций социалистической собственности. В советской экономике главной опорой нерадивости стал партийно-хозяйственный персонал. Нерадивость и некомпетентность оказались как бы «социальным завоеванием» многих наших руководителей — этих несостоявшихся слуг несложившегося народа-хозяина» [Сухотин 1990, с. 21]. Будучи приверженцем социалистических идей и государственной формы собственности, Сухотин видел проблему в том, что у нас «господствующее влияние на положение дел уже давно оказывает не вершина... пирамиды (народнохозяйственные и политические институты центральной власти), а производственно-распределительные олигархии низших уровней — отраслевые и территориальные, официальные и теневые» [Там же, с. 25]. При этом он, используя выводы западной «школы прав собственности», демонстрировал, как наши управленцы весьма успешно применяют в своей практике весь арсенал средств, позволяющий их зарубежным коллегам «отлынивать» от добросовестного исполнения своих обязанностей в случаях ослабления контроля со стороны собственника. Сухотин предостерегал от различных вариантов разгосударствления собственности, пользовавшихся в тот период популярностью, ибо видел, что «фактические обладатели хозяйственной власти не спешат с ней расстаться или поделиться ею с рядовыми работниками» [Там же, с. 18].

И в современной литературе отмечается, что именно «период перестройки оказал огромное влияние на процесс реальной и формальной приватизации» [Григорьев 2005, с. 122]. Л. Григорьев констатирует, что начавшиеся в соответствии с законами о государственном предприятии (объединении) и о кооперации процессы коммерциализации хозяйственной деятельности предприятий, открывали некоторые горизонты для хозяйственной деятельности, что, бесспорно, было полезно в деле перевода страны на рыночные рельсы. В то же время он указывает на вредность этих законов в исторической перспективе, ибо «они нарушали взаимоотношения между владением, распоряжением и использованием активами... К концу 1980-х годов активы «социалистических» предприятий были задействованы во многом как частные активы для создания частных (тогда еще «левых») доходов... Не сложно показать, как это влияло на приватизацию: фактические распорядители (проконтроль) собственности считают эту собственность своей и извлекают доходы, и они будут защищать свой контроль против любого покушения. Можно представить давление, которое оказывали «распорядители» на процесс выработки решения о приватизации в свою пользу: быстрее, легче,

проще. Возможно, это был один из первых случаев «захвата государства» группами интересов, которые затем стали частым явлением» [Там же, с. 122—123].

Именно в этой ситуации в совокупности со ставшей в тот период популярной мифологемой «народной приватизации», на мой взгляд, заложены причины того, что начавшаяся через несколько лет массовая приватизация была проведена относительно безболезненно, не встретила массового общественного сопротивления. И вряд ли здесь дело в «гении» А. Чубайса (злом или добром — в зависимости от позиции оценивающих эту фигуру). Причина его успеха проста: он всего лишь возглавил уже идущие процессы и как раз в том варианте, в котором они стихийно развивались.

В связи с этим встает еще один важный вопрос: была ли в реальных условиях начала 1990-х годов возможность по-другому провести процесс приватизации, с тем чтобы он не привел бы в итоге всего лишь к новому институциональному оформлению системы «власти—собственности»? Ведь есть смысл вспомнить, что к рубежу 1980—1990-х годов ни Гайдар, ни Чубайс, ни Явлинский не были сторонниками «народной приватизации», раздачи населению «причитающихся им долей общественного богатства». Однако к тому времени, когда приватизация встала на повестку дня (причем, не забудем, что стихийно этот процесс активно шел задолго до того, как во главе его встало правительство России¹⁰), реформаторы уже были ограничены рамками закона, разработанного Верховным Советом РСФСР под руководством М. Малеева¹¹. Согласно этому закону, в приватизации должно было принять участие все население страны с помощью именных приватизационных чеков. То, что в итоге чеки оказались не именными, Чубайс объяснял техническими проблемами и невозможностью организовать всеобъемлющий учет их движения в нашей огромной стране. Некоторые полагают, что именно благодаря отсутствию именных чеков и развернувшейся в этих условиях их широкой перепродаже огромное большинство населения оказалось обманутым.

Представляется, однако, что это не так. Прежде всего потому, что при всех разговорах о «народной приватизации» в действительности в среде трудящихся, не имевших действенных каналов отстаивания своих интересов (профсоюзы у нас до сих пор не могут выполнять эту функцию), борьба велась между иными заинтересованными группами. Это различные группировки старого управленческого комплекса, а также представители лишь зарождающегося бизнеса, сумевшие в период перестройки завоевать позиции в кооперативном секторе экономики либо легализовать выведенные из тени капиталы, накопленные в предшествующий период.

Важнее то, что весь процесс был рассчитан на короткий срок с явной надеждой на быстрые последующие переходы собственности от неэффективных

¹⁰ «Можно по-разному отнестись к факту скрытой приватизации в поздний советский период, но он важен для того, чтобы в рассмотрение всего процесса трансформации собственности от «квазиэгалитарного» общества к латиноамериканскому типу ввести в более или менее конвенциональные рамки, с понятным языком, целями и интересами основных участников. Это важно для того, в частности, чтобы уйти от мистической единственности российского трансформационного процесса» [Григорьев 2005, с. 127].

¹¹ По мнению Григорьева, российская приватизация претерпела такие перипетии, что уже невозможно найти ее авторов [Григорьев 2003].

собственников, получивших ее от государства, к эффективным. При этом не учитывалось то, что «если провести передачу прав владения вне адекватной среды и вне обязательств, то не ясен способ, на основе которого можно было бы в разумные сроки сложить те отношения корпоративного контроля, которые обеспечили бы нормальное функционирование рынка... Если общество (государство) не позаботилось о каком-либо механизме поддержания выполнения обязательств, то разумно предположить, что новые собственники будут реализовывать свои интересы, которые могут отклоняться от ожиданий законодателя» [Там же, с. 124—125].

В такой ситуации о приватизации как стимуле роста эффективности, как показала практика (во всяком случае, в массовом масштабе), не было речи. Однако тут нельзя забывать о приватизации в общем контексте политической борьбы начала 1990-х годов. В данном контексте, к сожалению, как приватизационный процесс в целом, так и отдельные конкретные приватизационные сделки стали инструментом большого политического торга в обществе, вышедшем из советской эпохи и вступившем в эпоху реформирования отнюдь не монолитным, а в состоянии серьезного идейного раскола. Причем это был раскол не только между проигравшими коммунистическими силами и их идейными противниками, но и внутри последних. В такой ситуации невозможно создание мощной политической платформы для сокрушения системы «власти—собственности». А это — необходимое условие данного процесса, как свидетельствует история начала XX в., когда важнейшим условием перехода к системе «власти—собственности» была жесткая политика партии большевиков, подавлявшая любые отклонения от генеральной линии, включая не только политическую монополию партии в обществе, но и инакомыслие внутри ее.

Ситуация конца XX в. принципиально иная. Даже представители коммунистической идеологии, потерпевшие сокрушительное поражение в августе 1991 г., быстро оправились и уже в 1992 г. в условиях начавшегося переходного кризиса, сопровождавшегося резким падением уровня жизни большинства населения, выступили как весомая оппозиционная политическая сила. В целом же на протяжении 1990-х годов мы имели мощную оппозицию осуществляемым президентом и правительством преобразованиям (причем оппозиционные силы различного толка составляли большинство как в Верховном Совете РФ, так и после 1993 г. в Государственной думе). С одной стороны, это было положительным знаком возвращения страны к демократическим нормам. С другой стороны, отсутствие консенсуса в отношении основных параметров проводившихся реформ в совокупности с ситуацией исчезновения монопольного собственника предшествующего периода — партии-государства — породило искушение решения политических проблем за счет «покупки» сторонников или нейтрализации противников с помощью тех или иных объектов собственности. В контексте этих событий и была проведена приватизация (как по отдельным индивидуальным проектам, так и массовая). Приходится констатировать, что такая политическая ситуация делает невозможной полноценную мутацию «власти—собственности», предполагающую создание жесткого законодательства, регулирующего поведение и государства в целом, и отдельных чиновников в условиях перехода страны к рынку и появления непривычного для советского сознания предпринимательского класса.

Думается, именно тогда сложились условия, заблокировавшие полноценную мутацию системы «власти—собственности» в подлинно частнособственническую и рыночную, способствовавшие возрождению ее в новых институциональных формах. Причем эти формы для общества являются еще более неприемлемыми и опасными, чем прежние. Потому что в новых условиях бюрократия уже выступает как самостоятельная сила, избавленная от какой бы то ни было, даже партийной, ответственности. У бюрократии и связанных с ней новых бизнесменов нет тех обязательств перед обществом, которыми в какой-то мере была связана партия-государство (вспомним, что «общественный договор» советского периода предполагал ряд обязательств государства перед населением взамен за изъятие у него части необходимого продукта; в итоге случившегося в стране раздела собственности обязательства исчезли вместе с их гарантом, но изъятых у населения никто не вернул). Этот отказ новых собственников, в том числе и государства, от оплаты векселей, выданных старой системой, приобретающий в последние годы все более резкие формы непопулярных «социальных реформ», рассматривается обществом как явно несправедливый и таит в себе весьма серьезный протестный потенциал.

Опасность ситуации усугубляется из-за того, что бюрократия — отнюдь не монолит. Она состоит из многочисленных кланов и группировок (как федеральных, так и региональных), которые готовы на многое в борьбе за ту или иную собственность. Каждый клан, оказавшийся «наверху», не уверен в прочности своего положения. Он стремится в максимально сжатые сроки извлечь выгоду из текущей политической ситуации, а потому действует особо жестко и цинично.

Но основной проблемой современной России можно считать то, что результатом полутора десятилетий реформ так и не стала вполне созревшая мутация системы «власти—собственности», предполагающая прежде всего отделение властно-государственных функций от тех экономических функций, которые должны перейти как к частному бизнесу, так и к хозяйственному менеджменту (пусть и управляющему государственной собственностью, но по принципам управления собственностью частной). В наших же условиях, как известно, успешность бизнеса напрямую зависит от отношений с властными структурами, точнее — с теми чиновниками, которые в данный конкретный момент руководят этими структурами. Сложилась четкая система взаимоотношений государственных чиновников, в том числе «силовики», и бизнесменов, в которой последние все более и более попадают в прямую зависимость от первых. Причем структура отношений на разных этажах «властной вертикали» идентична. Если высшее руководство строит свои отношения с «олигархами», в рамках институциональных форм, которые можно признать современной модификацией отношений «власти—собственности», то региональная власть воспроизводит такие же формы на своем уровне, а местная власть, соответственно, выстраивает по тем же принципам отношения с малым и средним бизнесом на своей территории.

Однако постольку поскольку бюрократическая власть России — власть кланов, концентрирующаяся вокруг «первых лиц» разных масштабов, то в целом у фигурантов новых отношений «власти—собственности» нет и не может быть ощущения определенности своего положения, ибо положение самого «первого лица» неопределенно и ограничено хотя бы сроками выборов. И даже при нынешних тенденциях как сокращения числа самих выборов, так и «со-

вершенствования» избирательных технологий гарантии несменяемости власти не существует (отсюда и боязнь «оранжевых революций», явно высказываемая властями при вполне спокойном — хотя бы внешне — состоянии общества). А потому, как было отмечено и в зарубежной, и в отечественной литературе, для российской экономики стали характерны перераспределительные коалиции (об этом понятии в целом и применительно к России см., в частности, [Якобсон, Макашева 1996; Полтерович 2005; Olson 1982]). В. Полтерович охарактеризовал их как «институциональную ловушку», в которую попала страна. И главную угрозу для России он видит в том, что она может «навсегда остаться обществом перманентного перераспределения, в котором «перераспределительная лихорадка» сменяется периодами стагнации, когда очередная правящая верхушка безуспешно пытается включить механизмы экономического роста или хотя бы сохранить *status quo*» [Полтерович 2005, с. 15]. Причем перераспределительная активность ведет к резкому увеличению издержек реформирования общества, но в то же время сами реформы становятся мотором перераспределительных процессов.

Само функционирование перераспределительных коалиций в качестве необходимого элемента предполагает наличие сильных властных рычагов, позволяющих оказавшимся рядом с ними группировкам перераспределять в свою пользу имеющиеся экономические ресурсы. То есть возможность либо полноценного владения, либо управления теми или иными активами ставится в прямую зависимость от отношений с властными группировками. Как отмечает Г. Явлинский, «отличительной чертой российской экономики переходного периода является то, что политическое влияние может очень легко быть использовано для существенного изменения структуры владения активами, несмотря на то, что на приобретение этих активов могли быть затрачены большие суммы денег. В той части переходной экономики, которая работает на основе денег, деньги служат мерилем силы притязания владельца на активы, однако вся система в целом основывается не на конкурентной купле и продаже, а на механизме косвенного инвестирования в политические отношения» [Явлинский 2005, с. 22]. Такая ситуация подтверждает уже упомянутую констатацию Нуреева и Рунова, что в России произошла новая институционализация отношений «власти—собственности», допускающая, с одной стороны, широкое использование рыночных отношений, ограниченных, однако, монопольным контролем властной вертикалью «командных высот» экономики и основных финансовых потоков. С другой стороны, новая институционализация «власти—собственности» в пользу бюрократических группировок не может существовать вне ситуации перманентного перераспределения.

Справедливости ради надо сказать, что в первые годы президентства В. Путина, по крайней мере на декларативном уровне, можно было выявить политическую позицию, направленную на подрыв отношений «власти—собственности». Ибо, как уже было отмечено, успех полноценной мутации системы «власти—собственности» невозможен без четко выраженной политической воли, направленной на искоренение присущих данной системе отношений и четкое разграничение сфер деятельности бизнеса и власти. И такие сигналы президент давал обществу. Было, в частности, заявлено о приверженности принципам «равноудаленности» от власти всех сложившихся к 2000 г. так называемых «олигархических группировок», о необходимости хозяйственного законодательства, не допускающего произвольного толкования его чиновниками. Эти заявления,

будучи претворенными в жизнь, действительно могли бы способствовать активизации процесса мутации системы «власти—собственности» в частнособственническо-рыночную. Причем к этому времени уже сложились серьезные слои, заинтересованные в таком развитии событий. К ним можно отнести не только «олигархов», составивших свои гигантские состояния именно благодаря вхождению в элитные кланы, распоряжавшихся перераспределением богатств страны в рамках новых институтов «власти—собственности», а теперь стремящиеся к сохранению сложившегося положения вне зависимости от возможных изменений во власти. Такую же заинтересованность проявляло все бизнес-сообщество на всех уровнях вплоть до малого бизнеса, тяготящееся массой неформальных обременений, налагаемых теми или иными властными структурами.

Если в 1990-х годах, особенно в первой их половине, основные успехи российских бизнесменов были связаны с господствовавшей в стране экономико-юридической неопределенностью, являющейся благоприятной средой для проведения спекулятивных операций, то к началу 2000-х годов ситуация изменилась. Общество ощутило потребность в большей определенности сложившихся экономических отношений и, соответственно, в разрыве с тем привычным для нас типом отношений, которые структурируются не в чисто экономико-юридической, а прежде всего в политической иерархической конструкции. Ибо акцент на властно-политической составляющей, особенно в условиях политической нестабильности, порождает неопределенность в экономической сфере, которая становится тормозом для становления прочных рыночных связей. Поэтому для начала 2000-х годов стало очевидно, что «неопределенность, порождаемая значительной частью акционированных полугосударственных предприятий, сегодня уже вошла в острое противоречие с рыночными требованиями экономико-юридической определенности в сфере отношений собственности» [Плискевич 2000, с. 118].

Насущная потребность экономической жизни в определенности отношений собственности, выстроенных на рыночной основе, побудила руководство страны предпринять ряд шагов в этом направлении. И хотя они ограничивались отношениями высших эшелонов власти и элиты бизнеса, но сам посылаемый «сверху» сигнал, подкрепленный изменениями в законодательстве, мог бы в перспективе способствовать «смягчению нравов» и в середине, и у основания «пирамиды». Это вполне могло бы запустить процесс постепенной мутации системы «власти—собственности».

Однако, как известно, новое политическое руководство не устояло перед соблазном передела собственности, вновь вернуло страну в институциональную ловушку «перманентного перераспределения». Дело ЮКОСа стало знаковым рубежом, оборвавшим надежду на постепенную мутацию системы «власти—собственности», хотя отдельные внушавшие опасения события были и ранее (вспомним хотя бы историю с покупкой «Роснефтью» компании «Северная нефть») ¹². Особое значение «дела ЮКОСа» в том, что был дан вполне опреде-

¹² А. Аузан указывает на знаковость ареста Ходорковского, сам факт которого разрушил проходившие в тот период консультации между представителями власти и бизнеса, результатом чего могла бы стать выработка нового «общественного договора», предусматривающего установление порядков, помимо прочего, в большей степени способствовавших бы процессам мутации системы «власти—собственности» [Аузан 2004].

ленный сигнал всей «вертикали власти». И чиновники поняли: неформальные отношения с бизнесом, основанные на их положении во властных структурах, отныне не только не будут преследоваться, но и вписываются в общую, рекламируемую на самом верху, схему.

Это и означает новую институционализацию системы «власти—собственности». Однако институционализация эта гораздо более противоречива, чем та, что была реализована в советское время. Ибо при всем ее удобстве для бюрократии в плане частного присвоения дохода как от государственной собственности, так и от своего места в государственных структурах она не опирается на жесткую властную монополию, характерную для классической системы «власти—собственности». А это означает, что складывающаяся конструкция носит промежуточный характер.

Тем не менее пока, по выражению А. Илларионова, в России «возникла и укрепилась, оформилась новая модель государства. Государство стало корпоративистским» [Илларионов 2006, с. 1]. В своей достаточно резкой статье бывший советник Президента РФ по экономическим вопросам дает целый комплекс характеристик корпоративистского государства, свидетельствующих об отступлении в стране в последние годы даже от тех принципов экономической свободы, которые все же смогли утвердиться в 1990-е годы, и укреплении тех позиций, которые обычно связываются с системой «власти—собственности».

Илларионовым отмечаются, в частности, ситуация неподконтрольности государственной собственности ее номинальным собственникам — гражданам России, отсутствие в экономических отношениях единых правил (безмерные льготы для «своих» и лояльных властной корпорации и непомерные санкции для «чужих» либо ставших неугодными), предоставление «своим» возможности распоряжаться финансовыми потоками, проходящими через выделенные им в управление компании, господство принципа «приватизация прибылей и национализация убытков». В качестве доказательства того, что приоритетным для руководства является благополучие властной «корпорации», а отнюдь не развитие экономики страны сопоставляются две цифры — 5 млрд долл., выделяемых на национальные проекты в 2006 г., и 23 млрд долл. государственных средств, потраченных государственными компаниями в 2005 г. на приобретение новых активов. Делается вывод, что «сегодня, в начале XXI в., выбор этой модели [корпоративистского государства — Н. П.] — это не что иное, как сознательный выбор в пользу общественной модели третьего мира», ведущей в исторический тупик [Илларионов 2006, с. 8].

Нельзя не признать не имеющими основания такие характеристики системы, сложившейся в последние годы в России. Разумеется, многие зачатки ее были сформированы еще в 1990-е годы, когда в условиях серьезного идейно-политического раскола и общества в целом, и властной элиты не удалось встать на путь последовательной мутации системы «власти—собственности». В результате бюрократия смогла взять под контроль процесс распада собственности партии-государства и вновь институционализировать отношения собственности, прежде всего связанные с государственным либо с приватизируемым имуществом, на принципах системы «власти—собственности». Однако, как представляется, сама эта новая институционализация, связанная с вплетением в нее рыночных отношений, оставляет возможности как для консервации системы

«власти—собственности», так и для ее последующей мутации в полноценную частнособственническо-рыночную систему. К сожалению, намеченное в первые годы президентства Путина движение по второму варианту развития событий в 2003 г. резко сменилось на противоположное.

Стремление сохранить за собой ключевые позиции в экономике (точнее — право использовать в своих интересах наиболее значительные финансовые потоки), характерно для сложившейся в стране властной элиты, да и от зависящей от нее элиты экономической, благосостояние многих представителей которой напрямую связано с обеспечиваемым для нее властями монопольным положением на том или ином сегменте рынка. Практика последних десятилетий показывает, что связка бюрократии и бизнеса в плане поддержания монополии, особенно в связи с контролем рынка на той или иной территории, весьма сильна. И мы знаем, что «чужаку» практически нереально наладить свой бизнес на некоей новой для него территории, от чего, естественно, страдают прежде всего рядовые потребители, вынужденные оплачивать товары и услуги по максимально высоким ценам. Причем есть представители «властно-хозяйствующей» элиты, пытающиеся подвести свою теоретическую базу под сложившуюся в стране хозяйственную практику. При этом они ссылаются на разворачивающуюся в мире концентрацию производства, доходящую до образования гигантских транснациональных корпораций (ТНК), и в целом на процессы глобализации. Так, согласно Ю. Лужкову, современное государство, отказываясь от непосредственного участия в бизнес-проектах, проигрывает структурам типа ТНК. И в этом он видит структурный кризис будущего государства прежде всего как «кризис несоответствия структуры и функций «классических» государств потребностям национального развития» [Лужков 2002, с. 141].

Московский мэр полагает: «В современном мире каждое государство постепенно и объективно «встраивается» во все более сложную систему правовых и административных глобальных связей и отношений. Выход один: государство должно само превращаться в подобие корпорации, имеющей в том числе транснациональные возможности. И надо готовиться к долгой целеустремленной борьбе за признание во всем мире права государства пользоваться экономической свободой наравне с другими участниками свободного рынка» [Там же, с. 142]. С точки зрения Лужкова, государство, «стремясь соответствовать логике глобализации как, в первую очередь, глобализации экономической, приобретает все более экономический «профиль», превращается в государство-корпорацию, конкурирующую с ТНК и являющуюся агентом граждан в глобальной экономике» [Там же, с. 143].

Здесь мы видим аналогию того корпоративистского государства, с критикой которого выступил Илларионов, подчеркнувший, что важнейшая особенность такого государства — его неподконтрольность гражданам, что сразу отвергает саму возможность для него стать «агентом граждан в глобальной экономике». Но наиболее существенный изъян концепции московского мэра состоит в неверной трактовке глобальных процессов. Он фактически отождествляет их с процессами концентрации производства и власти, характерными для конца XIX в., которые при определенных общественно-политических условиях, как это показывает, в частности, опыт нашей страны, способны привести к мутации частнособственническо-рыночной системы в систему «власти—собственности».

Последняя же, если судить по хозяйственной практике московских властей, представляется Лужкову оптимальным вариантом управленческих решений. А вплетение в нее рыночных институтов открывает широкие возможности для конвертации властных позиций в частные имущественные либо финансовые активы. Но именно эта черта нашей экономики «находится в вопиющем противоречии с общепринятой практикой конституционных государств, где независимая третья сторона [государство — Н. П.] служит только для определения основных правил рыночной игры и гарантирует права частной собственности от размывания» [Явлинский 2005, с. 22].

Между тем современная глобализирующаяся экономика представляет собой гораздо более сложный механизм, нежели это рисуется в концепциях, сторонником которых является Лужков. Разумеется, государству в ней принадлежит огромная роль, но это отнюдь не значит, что оно должно непосредственно включаться в экономические процессы, особенно на микроуровне. Не будем забывать, что современное мировое хозяйство прошло за XX в. огромный путь, связанный и с совершенствованием методов государственного регулирования, и с открытием новых возможностей для проявления индивидуальной инициативы. И на сегодняшний день можно сказать, что решение найдено, «с одной стороны, в механизмах поддержания финансово-денежной ответственности, а с другой — в развитии финансово-денежных рынков под опекой финансового капитала и глобализации. В социально-экономическом плане глобализация дала новый импульс к рационализации хозяйственной деятельности, поставив тем самым вопросительный знак перед взаимным сопряжением развившейся таким образом макроэкономики и постмодерна» [Евстигнеева, Евстигнеев 2005б, с. 42]. В то же время «кардинальное решение проблемы защиты человечества от тоталитаризма — в либерализации, которая опирается, помимо демократических, и на свои собственные институты» [Там же, с. 117—118]. Таким образом, конструкции типа «власти—собственности» не укладываются в систему мер, способных дать простор развитию разнообразных проявлений человеческой инициативы в рамках современного глобального развития.

Важна еще одна черта, интенсивно развивающаяся в рамках новой институциональной системы «власти—собственности», — ей органически присуще интенсивное развитие коррупции. Причем коррупция в этих условиях приобретает *особое качество*. Собственно, само переформирование институтов системы «власти—собственности», связанное с перехватом позиций собственника у прекратившей свое существование партии-государства различными элитными кланами с необходимостью предполагало не просто широкое распространение мздоимства среди чиновничества, но формирование разветвленных устойчивых *коррупционных сетей*. Это — следствие развивающихся в условиях господства системы «власти—собственности» патрон-клиентских отношений — социального явления, характеризующегося отношениями доминирования, господства и подчинения. «Патрон-клиентские отношения формируют своеобразные сети личных отношений, связывающих чиновников с конкретными частными и корпоративными интересами в сферах бизнеса и финансов. Иногда такие связи предполагают подкуп конкретного чиновника в интересах одной конкретной структуры, но гораздо чаще он вынужден включаться в сеть взаимных услуг без получения и передачи взяток, поскольку иначе не сможет продолжить занимать свою должность. При

этом принуждение к вовлечению в коррупционную сеть для чиновника сопровождается корыстным интересом: как правило, он получает определенную долю доходов коррупционной сети в виде нелегальных выплат пропорциональных своему статусу и роли в коррупционных сделках» [Римский 2004, с. 76].

Коррупционные обороты в России, как известно, огромны. По расчетам Г. Сатарова (хотя и оспариваемым другими исследователями) они сопоставимы с государственным бюджетом. При этом не будем забывать и о том, что при новой институционализации системы «власти—собственности» рядовым гражданам так и не была возмещена в виде увеличения заработной платы та часть необходимого продукта, которая изымалась у них при прежней системе под определенные (пусть часто и мнимые) гарантии. Сегодня же можно сказать, что коррупционное давление на бизнес, вынуждающий его проводить как неформальные отчисления в пользу конкретных чиновников, так и принудительные легальные отчисления (в разного рода фонды, на поддержку нужных политических мероприятий, на те или иные социальные проекты общероссийского или местного значения), не только тормозит развитие экономики, но и не дает возможности резкого улучшения материального положения рядовых работников.

Можно ли порвать с системой «власти—собственности»?

Итак, начало XXI в. страна встретила новой институционализацией системы «власти—собственности», пусть более противоречивой, чем предшествующей, но явно демонстрирующей свою устойчивость. Закономерно встает вопрос: не является ли такая устойчивость следствием социокультурных особенностей российского общества, быть может наши попытки перейти к полноценной системе, основанной на принципах демократии и частной собственности, изначально обречены на провал? Итак, мы сталкиваемся с противоречием. С одной стороны, ряд социокультурных особенностей России, и прежде всего особая роль государства в организации жизни российского социума, подводит многих исследователей к мысли об органичности многопланового государственного вмешательства в экономическую жизнь, что и приводит к постоянному воспроизводству системы «власти—собственности». С другой стороны, современная экономика не может эффективно развиваться в рамках данной системы, и все предпосылки для ее мутации в частнособственническо-рыночную систему созрели уже в Советском Союзе к 1960—1970-м годам. Новая институционализация системы «власти—собственности» опирается уже не на монополию единого собственника, а на господство бюрократии, т. е. изначально гораздо более противоречива, чем прежняя, а потому можно сделать предположение о ее промежуточности. Эта противоречивость проявляется, на мой взгляд, в резком увеличении по сравнению с предшествующим периодом размытости в самом определении собственника. Если советская «общенародная (государственная) собственность» при всех противоречиях ее толкования все же опиралась на четкую идеолого-политическую определенность отношений, выводящую в качестве верховного собственника партию-государство, то в новых условиях фактически перехватившие права собственности властные кланы лишены даже

такой определенности. Не говоря уже о том, что реально они постоянно уходят от формализации экономико-юридической определенности, без которой невозможно развитие частнособственническо-рыночной системы, элементы которой были внедрены в новую институциональную конструкцию.

Укрепившаяся в последние годы «вертикаль власти», бесспорно, усилила роль в существующих отношениях «власти—собственности» администрации Президента. Но при этом вряд ли справедливо говорить о том, что она в своих возможностях даже приблизилась к тем, которыми обладал ЦК КПСС, хотя, не исключено, что именно этот орган является образцом для ее работников. На деле существует множественность центров влияния на общегосударственном уровне (как внутри администрации Президента, так и в правительстве, в Федеральном собрании). А на уровне субъектов Федерации и даже в более мелких административных образованиях выстраиваются свои, местные, отношения «власти—собственности», давящие прежде всего мелкий бизнес.

Причем эта размытость отношений собственности, противоречащая самой сути данных отношений, требующих четкой определенности, является важнейшим источником извлечения дохода для властных кланов. Здесь можно говорить и об интересах властных элит, направленных на решение неких общегосударственных задач, ибо «для государства, стремящегося к пополнению своих бюджетных ресурсов, размытость — незащищенность от безвозмездного изъятия — прав собственности подданных часто оказывается *выгодной*, поскольку облегчает решение проблемы обеспечения требуемого уровня государственных расходов» [Тамбовцев 2006, с. 27]. Примеров такого поведения государства — множество, вплоть до финансирования создаваемого Комитета по антитеррористической деятельности за счет средств крупного бизнеса. Но присущая современной российской системе «власти—собственности» размытость прав собственности как «сознательное введение неопределенности и нечеткости в те или иные компоненты специфицированного права собственности» может осуществляться не только в интересах государства, но в «интересах *отдельных государственных служащих* и их групп, а также в интересах *групп лоббистов*» [Там же].

Таким образом, важнейшим элементом современной институционализации российской системы «власти—собственности», включившей в себя рыночный компонент, является ее размытость. А «поскольку в современных обществах наиболее массовый гарант прав собственности — государство, то и размывание прав собственности связано именно с его действиями» [Там же]. Известно, что в российской традиции, включая ее социокультурные основания, роль государства особенно велика. Но возникает вопрос: что за государство мы имеем сейчас, ибо от его качественных характеристик зависит сам факт существования у нас системы «власти—собственности».

По мнению Шкаратана, «общественное устройство современной России есть прямое продолжение существовавшей в СССР этакратической системы, первооснову которой составляли отношения типа «власть—собственность»... Присущие этакратическому обществу слитные отношения «власть—собственность» получили частнособственническую оболочку, но по существу остались неизменными» [Шкаратан 2004, с. 191]. Однако перспективы развития страны, по его мнению, небезнадежны, ибо история знает примеры не только латиноамериканского, но и японского пути развития капитализма, для чего важно

уяснить, что капитализм «требуется разумного твердого государственного контроля», а не «стихийно-инерционного развития страны на основе свободной игры рыночных сил» [Шкаратан 2004, с. 192—193]. Тут же возникает вопрос — кто же будет осуществлять такой контроль? Ведь наличное российское чиновничество отнюдь не вызывает симпатий ученого (да и не только его). Более того, сама конструкция «власть—собственность» органически включает в себя именно такой тип чиновничества, который укоренился у нас. Таким образом, в подобных утверждениях просматривается явное противоречие: если социокультурно России присущ этакратизм со всеми его особенностями, включая поведение нынешней бюрократии, то каким образом *такое* государство может оказаться способным перевести развитие страны на иные рельсы?

Думается, что при такой постановке вопроса страна оказывается в явном тупике, ибо если ей органически присущ тип государства с господством системы «власти—собственности», то вряд ли она найдет внутренние силы для перевода государственной политики в пользу развития национального капитала, скажем, по японскому образцу. Однако не будем забывать, что сама этакратическая система сложилась в СССР в результате мутации отношений собственности предшествующего периода в жесткую конструкцию «власти—собственности». Разумеется и в дореволюционный период государство играло в отечественной экономике существенную роль, но роль эта особенно к рубежу XIX и XX вв. все более приближалась к той роли, какую государство играло в экономиках европейских стран того времени. Хотя не менее важно и то, что «все достижения и завоевания Романовых были обеспечены не благодаря преодолению раскола между государственной и догосударственной культурой, а благодаря его углублению» [Ахиезер, Клямкин, Яковенко 2005, с. 464]. При присущем стране «замораживании личностных ресурсов большинства населения в крепостном помещичьем хозяйстве и сельской переделной общине развитая буржуазно-капиталистическая среда возникнуть в стране не могла» [Там же, с. 469]. Но все же нельзя не признать, что медленная эволюция в сторону создания такой среды неуклонно проходила, но советская модернизация «ликвидировала все ростки интенсификации, которые медленно прорастали в досоветском городском предпринимательстве, в лучших помещичьих и “кулацких” хозяйствах» [Там же, с. 622].

Таким образом, хотя у советского этакратизма можно обнаружить глубокие социокультурные корни, к ним не сводится все богатство отечественного социокультурного наследия. И вполне можно предположить, что в современных условиях в стране вполне органично может развиваться государство иного типа¹³. Это государство, с одной стороны, в соответствии с нашими традициями, а также с теми требованиями, которые предъявляет к нему сложная экономика

¹³ Полагаю, что такому ходу рассуждений не противоречит и анализ типа социетарного развития России, проведенный Т. Ворожейкиной, которая определила его как государственно-центричную матрицу, роднящую нашу страну со странами Латинской Америки. Надежду внушает ее исследование процессов модернизации латиноамериканских государств, в ходе которого оказались возможны и демократизация и развитие институтов гражданского общества [Ворожейкина 2001]. Значит, данная конструкция, равно как и родственная ей система «власти—собственности», в современных условиях поддается трансформации, т. е. мутация данной системы вполне реальна.

современного глобализующегося мира, должно играть существенную роль в жизни российского общества, и прежде всего исполнять те необходимые обществу функции, от выполнения которых сегодня оно, как показывает практика, предпочитает уклоняться. С другой стороны, важно избавиться от тех элементов бюрократического насилия государства, которые и формируют костяк системы «власти—собственности».

Такая возможность представляется тем более реальной, что современное состояние российской государственности, и особенно роль в ней бюрократического компонента, не принимается большинством наших соотечественников. Как отметила Н. Тихонова, с одной стороны, для массового сознания россиян, в отличие от западноевропейцев, характерен приоритет по отношению к правам личности интересов общества, выразителем которых выступает государство. Однако, с другой стороны, исследования показывают, что отнюдь не всякое государство воспринимается россиянами как легитимное: *«Готовность государства к заботе о нуждах своих граждан и ее действенная реализация — основа всей этой системы отношений, легитимности власти государства и встречной готовности граждан выполнять требования власти, их “послушания”*. Соответственно, *социальная функция государства всегда должна будет доминировать над экономической в рамках этой модели отношений, в целом укладывающейся в систему патерналистских отношений представителей власти и “подданных”»* [Тихонова 2005, с. 42].

Данный подход, естественно, весьма далек от восприятия государства гражданами современных развитых стран, но он, однако, не соответствует и реалиям системы «власти—собственности», особенно в том ее институциональном оформлении, которое сложилось в современной России. Поэтому, по мнению Тихоновой, *«фактором, ускоряющим модернизацию взглядов россиян (воистину — нет худа без добра), выступает в этих условиях деятельность российского государства, явно расходящаяся с нормативными представлениями россиян о его функциях»* [Там же, с. 45]. Особенно следовало бы обратить внимание в этой связи и в плане анализируемой темы, на то, что новое оформление системы «власти—собственности» отбросило один очень важный для большинства населения ее компонент, о котором говорилось выше. В рамках так называемых социальных реформ делается попытка полностью переложить на население бремя расходов в таких сферах, как ЖКХ, образование, здравоохранение. При этом людям не было компенсировано оставшееся от советской системы «власти—собственности» изъятие у них части необходимого продукта для централизованного покрытия данных расходов (пусть на практике эти средства в значительном объеме шли в советский период на совсем другие цели).

Такая политика государства рассматривается подавляющим большинством россиян как явно несправедливая, грабительская. Кроме того, в связи с тем, что огромная часть работников, прежде всего в бюджетной сфере, действительно не получают в форме заработной платы всего необходимого продукта, попытки проведения такого рода «социальных реформ» неизбежно столкнутся с необходимостью организации новых типов централизованного финансирования значительных расходов в «реформируемых» сферах в виде разного рода льгот, субсидий и т. д. Примером тому может служить практика «монетизации льгот» начала 2005 г., которая после массовых протестов граждан фактически пошла по данному пути.

Таким образом, взятое властью на вооружение укрепление своей «вертикали», ведущее к усилению позиций системы «власти—собственности», не отвечает интересам населения. И люди вполне осознают это, отрицательно высказываясь о реально существующем государстве, хотя их недовольство пока активно не проявляется. И здесь причина не столько в свойственном многим россиянам патерналистском сознании, сколько в том, что благодаря на редкость благоприятной ценовой конъюнктуре на нефть и газ властям удается смягчать вопиющие проблемы прежде всего наиболее активных, а потому и потенциально опасных для них слоев населения. Как показывает практика последних лет, отстроенная «вертикаль власти» не способствует росту активности бизнеса, ибо по самой своей природе эта новая институционализация системы «власти—собственности» противится свободному проявлению личной инициативы. А без нее развитие современной экономики, и прежде всего ее высокотехнологичных отраслей, просто невозможно.

Разумеется, оно невозможно и без поддержки государства, но поддержка эта должна предоставляться отнюдь не в тех формах, в каких она практикуется в современной России. Нельзя не согласиться с утверждением, что «недолгий опыт постсоветской эволюции показал, что президентская «вертикаль власти», превращаясь в вертикаль коррупционно-бюрократическую, не в состоянии создать условия для технологической модернизации, которая блокируется незавершенностью модернизации социально-политической. Имитационно-правовое государство, усилив свою авторитарную составляющую, может поддерживать политическую стабильность, но не в силах утвердить стабильные правила игры и обеспечить формирование инвестиционного климата, которые стимулировали бы инновационную активность бизнеса и других инициативных групп населения» [Ахиезер, Клямкин, Яковенко 2005, с. 660].

Задача мутации системы «власти—собственности» в частнособственническо-рыночную объективно созрела в России уже почти полвека назад. И укорененная в отечественной культуре потребность в сильном государстве отнюдь не противоречит данной задаче, ибо либерализм совсем не отрицает необходимости сильного государства. По сути, само противопоставление государства и рынка ошибочно. Напротив, в современных условиях рынок не может успешно развиваться без определенного государственного вмешательства. Известный сторонник либерализма — М. Фридман, даже на рубеже 1950—1960-х годов — в период, характеризующийся острыми дискуссиями неолибералов со сторонниками дирижизма и других форм вмешательства в экономику, подчеркивал: «Государство, которое поддерживает законопорядок, определяет права собственности, служит нам средством модификации прав собственности и других правил экономической игры, выносит третейские решения по поводу толкования этих правил, обеспечивает соблюдение контрактов, благоприятствует конкуренции, обеспечивает кредитно-денежную систему, противодействует техническим монополиям и преодолевает «внешние эффекты» (достаточно важные, по общему мнению, для того, чтобы оправдать государственное вмешательство), выступает в качестве дополнительной силы по отношению к частной благотворительности и семье в деле защиты нетрудоспособных (будь то умалишенные или дети) — такое государство, несомненно, выполняет важные функции. Последовательный либерал не является анархистом» [Фридман 2006, с. 59—60]. Но очень важно

то, что наиболее слабыми сторонами современного российского государства — ключевой части системы «власти—собственности» — является выполнение как раз данных, необходимых в рыночных условиях функций. И в то же время они вписываются в круг требований, которые предъявляют россияне к легитимному с их точки зрения государству.

Сложность современного мира объективно требует не только четкости и твердости государственной политики в обеспечении экономико-правовой определенности статуса субъектов экономической деятельности (в противовес размытости, характерной для системы «власти—собственности»). Современные проблемы страны, инертность экономики отражают *«неверную ориентацию государства на финансово-денежную стабильность, основанную на блокировании, а не поощрении рыночной экспансии»* [Евстигнеева, Евстигнеев 2005б, с. 455]. Но и поощрение экономического роста, чем сейчас озаботилась российская власть, не приведет к успеху, тем более к мутации системы «власти—собственности», если для этого будут использоваться привычные для нас механизмы. «Линейная модель, опирающаяся на производительный факторный потенциал, не может обеспечить высокой динамики, поскольку она будет производной от предшествующего этапа развития и его динамики» [Там же, с. 455—456].

Современному либерализму должно соответствовать и современное государство, проводящее четкую макроэкономическую политику, активно действующее в таких сферах, как образование, наука, здравоохранение, ЖКХ. В таких условиях открываются возможности для развития либерального человека, которого Л. и Р. Евстигнеевы характеризуют как систему по своей внутренней физической, социальной и духовной структуре. Это — интегрированный субъект синергетической схемы экономики, *«включающий в себя не только экономический текст, но и социальный контекст вплоть до соединения человека, общества и цивилизации»* [Там же, с. 462].

Представляется, что большинству наших сограждан необходимо государство, не только обеспечивающее защиту прав личности от произвола, но и создающее *возможности* для развития индивидуальной инициативы. Не случайно нобелевский лауреат А. Сен полагает, что «бедность следует рассматривать скорее как отсутствие базовых возможностей, а не просто как наличие низкого дохода» [Сен 2004, с. 107]. Система «власти—собственности» в ее современном институциональном оформлении как раз блокирует возможности свободного проявления инициативы личности в самых разных сферах. Блокирование экономической свободы — лишь часть всеобщего удушения инициативы, но это та часть, от которой прежде всего зависит благосостояние большинства населения. Поэтому создание условий для скорейшей мутации этой системы в полноценную частнособственническо-рыночную отвечает коренным интересам людей.

Как было в начале XX в., так и в начале XXI в. процесс мутации собственности во многом обусловлен политическим фактором, ибо в блоке «власть—собственности» главенствующим компонентом все же является власть. Поэтому требование полноценной мутации системы «власти—собственности» — важнейшее требование политических сил, борющихся за прогрессивные преобразования в стране. Причем важно, что данное требование предполагает реализацию не только комплекса мер, связанных с установлением в стране экономико-правовой определенности отношений собственности, прекращением

коррупционно-бюрократического диктата, угнетающего бизнес. Не менее (а сегодня, быть может, и более) важный аспект перехода к полноценной мутации системы «власти—собственности» — социальный. Он связан с отмеченной выше проблемой возвращения большинству трудящихся страны той части необходимого продукта, которая была изъята у них в процессе формирования советской системы «власти—собственности», но так и не была возвращена после начала преобразований эпохи перестройки и 1990-х годов.

Эти задачи взаимосвязаны. Более того, для партий, отстаивающих либеральные приоритеты, формулирование основной задачи как полноценной мутации системы «власти—собственности» может помочь преодолеть их отчуждение от основной части российского электората. Их основной просчет последнего периода (как, впрочем, и стратегический просчет российского бизнеса) заключается в попытке решения своих тактических задач в рамках отношений системы «власти—собственности», опираясь на согласования с Кремлем. Так же поступает и бизнес. Особенно ярко это проявилось в 2003 г. в связи с началом дела ЮКОСа и крушением попытки установления относительного баланса сил между бизнесом и властью в 2000—2002 гг. А. Яковлев видит крупную ошибку, совершенную бизнесом в 2003 г., в том, что он пытался «договориться с властью за спиной у общества». И если в 1990-х годах «договаривались» с «отдельными чиновниками и политиками, то теперь попытались обратиться к власти в целом, олицетворяемой президентом Путиным» [Яковлев 2005, с. 39]. Действуя таким образом, бизнес, прежде всего крупный, сам способствовал укреплению новой институционализации системы «власти—собственности», хотя это противоречит его сущностным интересам.

Лишь четкая, ясная для общества позиция разрыва с данной системой может принести успех партиям, отстаивающим либеральные ценности. Причем важнейшим здесь должен стать социальный компонент, связанный с требованием коренного пересмотра политики в сфере оплаты труда, обусловленный необходимостью окончательного демонтажа советской системы «власти—собственности» с ее принудительным изъятием у работников части необходимого продукта. Ведь именно низкая оплата труда — наиболее болезненная социальная проблема современной России. Она породила у нас появление массового слоя «новых бедных», т. е. людей, занятых в крайне необходимых обществу сферах (вспомним не только постоянно упоминаемых учителей и врачей, но и ученых, работников различных сфер культуры, многих отраслей материального производства и т. д.) и получающих за это ничтожное материальное вознаграждение. Поэтому требование повышения оплаты труда (один из вариантов — до 40% себестоимости продукции) в современных российских условиях — дело не только профсоюзов (тем более, что они у нас, как правило, также встроены в систему «власти—собственности»), но прежде всего тех политических сил, которые ставят своей целью последовательную борьбу с данной системой.

Причем, как представляется, и решить эту проблему можно лишь в общем контексте такой борьбы. Ведь простое требование повышения заработной платы может быть легко заблокировано соображениями ухудшения конкурентоспособности отечественных товаров из-за роста их себестоимости. Поставленная же в общий контекст борьбы с системой «власти—собственности» проблема роста заработной платы может обрести и источник покрытия связанных с ее решением

издержек. Ибо в этом контексте должны также решаться вопросы установления четкой правовой определенности в экономической сфере вообще и в отношениях собственности в частности. А их решение, в свою очередь, открывает для бизнеса возможности легализации теневых и серых предпринимательских схем. Это позволит не только реально пополнить бюджет, но и резко сузит поле коррупционных выплат. Кроме того, разрыв с системой «власти—собственности» открывает для бизнеса возможность отказаться от огромных принудительных выплат в различного рода фонды, на оплату разного рода проектов, навязываемых властью. Таким образом, на базе борьбы с системой «власти—собственности» возможно построение действенной социальной политики, отвечающей интересам большинства российского населения.

В этом же ключе может быть рассмотрен и вопрос о легализации «олигархами» полученных в 1990-х годах в результате приватизации и особенно залоговых аукционов объектов государственной собственности. Эту проблему поставил, как известно, и М. Ходорковский, озабоченный преодолением «патологического, космического отчуждения между элитами и народом, властью и теми, кем эта власть правит» [Ходорковский 2005, с. 8]. Он предложил схему введения «налога на неосновательные доходы от благоприятной конъюнктуры» с целью легитимизации полученной в ходе приватизации собственности. Подобные предложения можно приветствовать, правда, с одной оговоркой: они дадут эффект, лишь будучи встроенными в общий контекст борьбы за мутацию системы «власти—собственности». Их проведение вне такого контекста, как представляется, может способствовать решению лишь частных, локальных задач, но не приведет к радикальному изменению ситуации. В указанном же контексте обращение Ходорковского к социальным проблемам вполне можно вписать не в «левый», а в «правый» поворот. До сих пор темы социальной защиты населения традиционно монополизируются левыми партиями. Однако их рецепты решения социальных проблем основаны как раз на укреплении той самой системы «власти—собственности», которая эти проблемы и породила.

Полноценная мутация системы «власти—собственности» предполагает не только формальный переход к рыночным отношениям. Как показала российская (и не только) практика 1990-х годов, они вполне могут быть встроены в обновленную институциональную структуру системы «власти—собственности». Чтобы полноценная мутация все-таки состоялась, необходимы еще и существенные преобразования в политико-правовой сфере, и политическая воля самой власти пойти на такие изменения. Разумеется, без серьезного нажима «снизу» власть на такие преобразования никогда не пойдет. Давление же «снизу» может стать реальностью лишь в случае, если идея борьбы за мутацию «власти—собственности» овладеет достаточно широкими слоями населения.

Сегодня большинство россиян разочарованы результатами реформ 1990-х годов и не без оснований считают себя проигравшими. Более того, крепнувший протестный потенциал может быть использован как раз для укрепления старой системы. Однако, взяв на вооружение пакет социальных требований, вытекающий из факта изъятия у населения части необходимого продукта при формировании советской системы «власти—собственности», партии либерального направления имеют шанс обрести, наконец, так необходимую им социальную опору. Причем такое введение социальных требований в программы либеральных

партий, исходя из вышеизложенного, представляется органичным и соответствующим их стратегическим целям — созданию условий для наиболее полной реализации индивидуальной инициативы в различных сферах деятельности.

И при такой постановке проблемы не столь абсолютными, как представляется сегодня, становятся препятствия, чинимые нашему развитию традиционалистскими компонентами отечественной культуры. Вспомним еще одно высказывание выдающегося индийского экономиста: «Сводить азиатскую историю к узкой категории авторитарных ценностей означает серьезно недооценивать богатство и разнородность азиатской интеллектуальной традиции. Сомнительная история не может оправдывать сомнительную политику» [Сен 2004, с. 273]. Думается, оно в неменьшей степени применимо к нашей ситуации. Несмотря на то, что система «власти—собственности» по-прежнему демонстрирует свою устойчивость, можно утверждать, что предпосылки к ее мутации в стране вполне созрели. И наш «переходный период», скорее всего, будет продолжаться до тех пор, пока эта мутация не станет фактом.

Литература

- Аузан А.А. Кризис ожиданий и варианты социального контракта // *Общественные науки и современность*. 2004. № 5.
- Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). В 2-х тт. Т. 1. От прошлого к будущему. Новосибирск, 1997. Т. 2. Теория и методология. Словарь. Новосибирск, 1998.
- Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? М.: Новое издательство, 2005.
- Бессонова О.Э. Раздаток. Институциональная теория хозяйственного развития России. Новосибирск: ОЭиОПП, 1999.
- Васильев Л.С. История древнего Востока. В 2-х тт. Т. 1. М.: Наука, 1993а.
- Васильев Л.С. Традиционный Восток и марксистский социализм // *Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти*. М.: Наука, 1993б.
- Вишневский А.Г. Серп и рубль. Консервативная модернизация СССР. М.: ОГИ, 1998.
- Ворожейкина Т.Е. Государство и общество в России и Латинской Америке // *Общественные науки и современность*. 2001. № 6.
- Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М.: МП «Октябрь», Советская Россия, 1991.
- Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории. М.: Дело, 2005.
- Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Исследование новейшей фазы в развитии капитализма. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1959.
- Гордон Л.А., Клопов Э.В. Потери и обретения в России девяностых. Историко-социологические очерки экономического положения народного большинства. В 2-х т. Т. 1. Меняющаяся страна в меняющемся мире: предпосылки перемен в условиях труда и уровне жизни. М.: Эдиториал УРСС, 2000. Т. 2. Меняющаяся жизнь в меняющейся стране: занятость, заработки, потребление. М.: Эдиториал УРСС, 2001.
- Горянин А. Россия и традиция собственности // *Эксперт*. 2005. № 44.
- Государственная социальная политика и стратегии выживания домохозяйств. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
- Грегори П. Действительно ли реформы в России оказались неудачными? // *Вопросы экономики*. 1997. № 11.

- Григорьев Л.М. Программы приватизации 90-х годов // Сравнительный анализ стабилизационных программ 90-х годов. М., 2003.
- Григорьев Л.М. Проблемы собственности: от перестройки до передела // Пути России: двадцать лет перемен. М., 2005.
- Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. От ускорения к ускорению: размышления над итогами двадцатилетия // Общественные науки и современность. 2005а. № 3.
- Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Экономический рост: либеральная альтернатива. М.: Наука, 2005б.
- Илларионов А. Почему Россия теперь другая страна // Коммерсантъ. 2006. 23 января.
- Корнаи Я. Социалистическая система. Политическая экономия коммунизма. М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2000.
- Корпоративное управление. Владельцы, директора и наемные работники акционерного общества. М.: Джон Уайли энд Санз, 1996.
- Кудров В.М. Крах советской модели экономики. М.: Московский общественный научный фонд, 2000.
- Кудров В.М. Советская экономика в ретроспективе. Опыт переосмысления. М.: Наука, 2003.
- Кузьминов Я.И., Набиуллина Э.О., Радаев В.В., Субботина Т. Д. Отчуждение труда. История и современность. М.: Экономика, 1988.
- Курс политической экономии. В 2 т. Т. 2 Социализм. М.: Политиздат, 1974.
- Латов Ю.В. Власть—собственность в средневековой России // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2004. № 4.
- Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 34, 36.
- Лужков Ю.М. Возобновление Истории. Человечество в XXI веке и будущее России. М.: Изд-во МГУ, 2002.
- Лэйн Д. Падение государственного социализма // Мир России. 2005. № 3.
- Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. М., 1960.
- Народное хозяйство СССР в 1987 г. Статистический ежегодник. М. Финансы и статистика, 1988.
- Нуреев Р.М. Азиатский способ производства как экономическая система // Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. М.: Наука, 1993.
- Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. Курс лекций. М.: ГУ ВШЭ, 2005.
- Нуреев Р.М., Рунов А.Б. Назад к частной собственности или вперед к частной собственности? // Общественные науки и современность. 2002. № 5.
- Панюшкин В. Михаил Ходорковский. Узник тишины: история про то, как человеку в России стать свободным и что ему за это будет. М.: ЗАО Издательский дом «Секрет фирмы», 2006.
- Пастухов В.Б. Затерянный мир. Русское общество и государство в межкультурном пространстве // Общественные науки и современность. 2006. № 2.
- Плискевич Н.М. Утопизм и прагматизм российского реформаторства // Общественные науки и современность. 1998. № 1.
- Плискевич Н.М. Российская приватизация: революция или эволюционный переход? // Общественные науки и современность. 1999. № 4.
- Плискевич Н.М. Неопределенность в мире определенности // Государственная служба. 2000. № 4.
- Полтерович В.М. Общество перманентного перераспределения // Общественные науки и современность. 2005. № 5.
- Полтерович В.М. Экономическая реформа 1992 г.: битва правительства с трудовыми коллективами // Экономика и математические методы. 1993. Т. 29. Вып.4.
- Римский В.Л. Бюрократия, клиентелизм и коррупция в России // Общественные науки и современность. 2004. № 6.
- Сен А. Развитие как свобода. М.: Новое издательство, 2004.
- Сухотин Ю. Собственник и хозяин // Общественные науки. 1990. № 6.

- Тамбовцев В.Л. Экономические институты российского капитализма // Куда идет Россия?.. Кризис институциональных систем: век, десятилетие, год. М.: Логос, 1999.
- Тамбовцев В.Л. Улучшение защиты прав собственности — неиспользуемый резерв экономического роста России // Вопросы экономики. 2006. № 1.
- Тихонова Н.Е. Россияне: нормативная модель взаимоотношений общества, личности и государства // Общественные науки и современность. 2005. № 6.
- Фридман М. Капитализм и свобода. М.: Новое издательство, 2006.
- Ходорковский М. Левый поворот — 2 // Коммерсантъ. 2005. 11 ноября.
- Цирель С.В. «Власть—собственность» в трудах российских историков и экономистов // Общественные науки и современность. 2006. № 3.
- Четвертый съезд народных депутатов СССР. Стенографический отчет. Бюллетень № 5. 19 декабря 1990. М., 1990.
- Шанин Т. Эксплоярные структуры и неформальная экономика современной России // Неформальная экономика. Россия и мир. М.: Логос, 1999.
- Шелов-Коведяев Ф.В. Фантомы евразийства. (Размышления о пользе преодоления одной мифологемы) // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз. 2004. № 2 (33).
- Шкаратан О.И. Российский порядок: вектор перемен. М.: Вита-Пресс, 2004.
- Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ). Часть 3. Государство в современной России. М.: Московский общественный научный фонд, 2003.
- Явлинский Г.А. Общественный договор — основа долгосрочной экономической стратегии // Мир России. 2005. № 4.
- Якобсон Л.И. Государственный сектор в экономике переходного периода // Куда идет Россия?.. Альтернативы общественного развития. М. Аспект-Пресс, 1995.
- Якобсон Л.И., Макашева Н.А. Распределительные коалиции в постсоциалистической России // Общественные науки и современность. 1996. № 1.
- Яковлев А.А. Власть, бизнес и движущие силы экономического развития России: до и после «дела ЮКОСа» // Общественные науки и современность. 2005. № 1.
- Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама российских реформ. Курс лекций. М.: ГУ ВШЭ, 2002.
- Olson M. The Rise and Decline of Nation. New Haven — London, 1982.